За рубежом

Автор:
Михаил Салтыков-Щедрин

За рубежом

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Книги очерков

Рисуя критическую картину политической жизни Западной Европы в 1880 году, книга стоит в ряду таких произведений нашей литературы, как «Письма русского путешественника» Н. Карамзина и «Зимние заметки о летних впечатлениях» Ф. Достоевского. Вместе с тем эта книга не только о Западе, но и о России. Осмысление зарубежной действительности дало писателю возможность еще глубже понять социально-политические проблемы своей страны.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович

За рубежом

I

Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но едва ли не самое верное из всех – это заставить человека посвятить себя культу самосохранения. Решившись на такой подвиг, надлежит победить в себе всякое буйство духа и признать свою жизнь низведенною на степень бесцельного мелькания на все то время, покуда будет длиться искус животолюбия.

Но, во-первых, чтоб выполнить такую задачу вполне добросовестно, необходимо, прежде всего, быть свободным от каких бы то ни было обязательств. И не только от таких, которые обусловливаются апелляционными и кассационными сроками, но и от других, более деликатного свойства. Или, говоря короче, нужно сознать себя и безответственным, и вдобавок совсем праздным человеком. Ибо, во время процесса самосохранения, всякая забота, всякое напоминовение о покинутом деле и даже «мышление» вообще – считаются не kurgemaess[1 - сообразными с лечением] и препятствуют солям и щелочам успешно всасываться в кровь.

Среди женщин субъекты, способные всецело отдаваться праздности, встречаются довольно часто (культурно-интернациональные дамочки, кокотки, бонапартистки и проч.). Всякая дамочка самим богом как бы целиком предназначена для забот о самосохранении. В прошлом у нее – декольте, в будущем – тоже декольте. Ни о каких обязательствах не может быть тут речи, кроме обязательства содержать в чистоте бюст и шею. Поэтому всякая дамочка не только с готовностью, но и с наслаждением устремляется к курортам, зная, что тут дело совсем не в том, в каком положении находятся легкие или почки, а в том, чтоб иметь законный повод но пяти раз в день одеваться и раздеваться. Самая плохая дамочка, если бог наградил ее хоть какою-нибудь частью тела, на которой без ожесточения может остановиться взор мужчины, – и та заранее разочтет, какое положение ей следует принять во время питья Kraenchen, чтоб именно эту часть тела отрекомендовать в наиболее выгодном свете. Я знаю даже старушек, у которых, подобно старым, ассигнациям, оба нумера давно потеряны, да и портрет поврежден, но которые тем не менее подчиняли себя всем огорчениям курсового лечения, потому что нигде, кроме курортов, нельзя встретить такую массу мужских панталон и, стало быть, нигде нельзя так целесообразно освежить потухающее воображение. Словом сказать, «дамочки» – статья особая, которую вообще ни здесь, ни в другом каком человеческом деле в расчет принимать не надлежит.

Но в среде мужчин подобные оглашенные личности встречаются лишь как исключение. У всякого мужчины (ежели он, впрочем, не бонапартист и не отставной русский сановник, мечтающий, в виду Юнгфрау

(Комментарии к таким сноскам смотри в Примечаниях I), о коловратностях мира подачек) есть родина, и в этой родине есть какой-нибудь кровный интерес, в соприкосновении с которым он чувствует себя семьянином, гражданином, человеком. Развязаться с этим чувством, даже временно, ужасно тяжело; и я положительно убежден, что самый культ самосохранения должен от этого

пострадать. Легко сказать: позабудь, что в Петербурге существует цензурное ведомство, и затем возьми одр твой и гряди; но выполнить этот совет на практике, право, не легко.

Недавно, проезжая через Берлин, я заехал в зоологический сад и посетил заключенного там чимпандзе. При случае советую и вам, читатель, последовать моему примеру. Вы увидите бедное дрожащее существо, до того угнетенное тоской по родине, что даже предлагаемое в изобилии молоко не утешает его. Скорчившись, сидит злосчастный пленник под теплым одеялом на соломенном одре и, закрывши глаза, дремлет предсмертного дремотой.[2 - Замечательно, что тут же, за решеткой, у самого изголовья старого чимпандзе, заключен маленький чимпандзе, родившийся несколько месяцев тому назад, уже в Берлине. Этот ребенок стоит, ухватившись передними лапами за решетку, и положительно глаз не сводит с умирающего старика. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)]

Какие сны снятся старику – этого, конечно, нельзя угадать, но, судя по тоскливым вздохам, ясно, что перед умственным его взором мелькает нечто необыкновенно заманчивое и дорогое. Быть может, там, в родных лесах, он был исправником, а может быть, даже министром. В первом случае он предупреждал и пресекал; во втором – принимал в назначенные часы доклады о предупреждении и пресечении. Без сомнения, это были доклады не особенно мудрые, но ведь для чимпандзе, по части мудрости, не особенно много и требуется. И вот, теперь он умирает, не понимая, зачем понадобилось оторвать его от дорогих сердцу интересов родины и посадить за решеткой в берлинском зоологическом саду. Умирает в горьком сознании, что ему не позволили даже подать прошения об отставке (просто поймали, посадили в клетку и увезли), и вследствие этого там, на родине, за ним числится тридцать тысяч неисполненных начальственных предписаний и девяносто тысяч (по числу населяющих его округ чимпандзе) непроизведенных обысков! Не знаю, как подействует это скорбное зрелище на вас, читатель, но на меня оно произвело поистине удручающее впечатление.

Во-вторых, мне кажется, что люди науки, осуждающие своих клиентов выдерживать курсы лечения, упускают из вида, что эти курсы влекут за собой обязательное цыганское житье, среди беспорядка, в тесноте, вне возможности отыскать хоть минуту укромного и самостоятельного существования. Из привычной атмосферы, в которой вы так или иначе обдержались, вас насильственно переносят в атмосферу чуждую, насыщенную иными нравами,

иными привычками, иным говором и даже иным разумом. Перед глазами у вас снует взад и вперед пестрая толпа; в ушах гудит разноязычный говор, и все это сопровождается таким однообразием форм (вечный праздник со стороны наезжих, и вечная лакейская беготня – со стороны туземцев), что под конец утрачивается даже ясное сознание времен дня. Это однообразие маятного движения досаждает, волнует, вызывает ежеминутный ропот. Нет ничего изнурительнее, как не понимать и не быть понимаемым. Я говорю это не в смысле разности в языке – для культурного человека это неудобство легко устранимое, – но трудно, почти невыносимо в молчании снедать боль сердца, ту щемящую боль, которая зародилась где-нибудь на берегах Иловли

и по пятам пришла за вами к самой подошве Мальберга.[3 - Гора, командующая над Бад-Эмсом. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)] Там, в долине Иловли, эта боль напоминала вам о живучести в вас человеческого естества; здесь, в долине Лана, она ровно ни о чем не напоминает, ибо ее давно уже пережили (может быть, за несколько поколений назад), да и на бобах развели. Мало того, эта боль становится признаком неблаговоспитанности с вашей стороны, потому что неприлично вздыхать и роптать среди людей, которым, в качестве восстановляющего средства, прописано непременное душевное спокойствие. Не ясно ли, что те катаральные улучшения, которые достигаются глотанием и вдыханием подлежащих щелочей, должны в значительной мере ослабляться полным отсутствием условий, составляющих обычную принадлежность той жизни, с которою вы, по крайней мере, лично привыкли соединять представление об оседлости.

В-третьих, наконец, культ самосохранения заключает в себе нечто, свидетельствующее не только о чрезмерном, но, быть может, и о незаслуженном животолюбии. Русская пословица гласит так: «жить живи, однако и честь знай». И заметьте, что, как все народные пословицы, она имеет в виду не празднолюбца, а человека, до истощения сил тянувшего выпавшее на его долю жизненное тягло. Если даже ему, истомленному человеку тягла, надо «честь знать», то что же сказать о празднолюбце, о бонапартисте, у которого ни назади, ни впереди нет ничего, кроме умственного и нравственного декольте? Клянусь, надо знать честь, господа! Подумайте! миллионы людей изнемогают, прикованные к земле и к труду, не справляясь ни о почках, ни о легких и зная только одно: что они повинны работе, – и вдруг из этого беспредельного кабального моря выделяется горсть празднолюбцев, которые самовластно декретируют, что для кого-то и для чего-то нужно, чтоб почки действовали у них в исправности! Ах, господа, господа!

Все это я отлично понимал, и все эти возражения были у меня на языке прошлой весной, когда решался вопрос о доставлении мне возможности прожить «аридовы веки». Но – странное дело! – когда люди науки высказались в том смысле, что я месяца на три обязываюсь позабыть прошлое, настоящее и будущее, для того чтоб всецело посвятить себя нагуливанию животов, то я не только ничего не возразил, но сделал вид, что много доволен. Я знал, что, ради восстановления сил, я должен буду растратить свои последние силы, – и промолчал. Я очень хорошо провидел, что процесс самосохранения окончательно разорит мой и без того разоренный организм, – и сказал: помилуйте! куда угодно, хоть в тартарары! Я – человек дисциплины по преимуществу и твердо верую, что всякое «распоряжение» клонится к моему благу.

Словом сказать, я сел в вагон и поехал.

Но так как факт совершился, и нелегкая принесла уже меня на берега вонючего Лана, то я считаю себя вправе поделиться с читателями вынесенными мною впечатлениями. Пишу не для дамочек и не для бонапартистов, а для тех, кои, сидя на берегах Лопани, Вороны и Хопра, не ослабляючи вздыхают над вопросами об акклиматизации саранчи, колорадского жучка и гессенской мухи

. Пусть дойдет до них мой голос и скажет им, что даже здесь, в виду башни, в которой, по преданию, Карл Великий замуровал свою дочь (здесь все башни таковы, что в каждой кто-нибудь кого-нибудь замучил или убил, а у нас башен нет), ни на минуту не покидало меня представление о саранче, опустошившей благословенные чембарские пажити. И пусть засвидетельствует этот голос, что, покуда человек не развяжется с представлением о саранче и других расхитителях народного достояния, до тех пор никакие Kraenchen и Kesselbrunnen

«аридовых веков» ему не дадут.

Но если бы и действительно глотание Kraenchen, в соединении с ослиным молоком, способно было дать бессмертие, то и такая перспектива едва ли бы соблазнила меня. Во-первых, мне кажется, что бессмертие, посвященное непрерывному наблюдению, дабы в организме не переставаючи совершался обмен веществ, было бы отчасти дурацкое; а во-вторых, я настолько совестлив, что не могу воздержаться, чтоб не спросить себя: ежели все мы, культурные

люди, сделаемся бессмертными, то при чем же останутся попы и гробовщики?

В заключение настоящего введения, еще одно слово. Выражение «бонапартисты», с которым читателю не раз придется встретиться в предлежащих эскизах, отнюдь не следует понимать буквально. Под «бонапартистом» я разумею вообще всякого, кто смешивает выражение «отечество» с выражением «ваше превосходительство» и даже отдает предпочтение последнему перед первым. Таких людей во всех странах множество, а у нас до того довольно, что хоть лопатами огребай.

* * *

В одно прекрасное утро, часов около одиннадцати, всех нас, «отпущенных по пачпорту», в Вержболове обыскали и, по сделании надлежащих отметок, переправили, как в старину певалось, «в гости к братьям пруссакам». Но нынешние братья пруссаки уж не те, что прежде были, и приняли нас не как «гостей», а как данников. Прежде всего они удостоверились, что у нас нет ни чумы, ни иных телесных озлоблений (за это удостоверение нас заставляют уплачивать в петербургском германском консульстве по 75 копеек с паспорта, чем крайне оскорбляются выезжающие из России иностранцы, а нам оскорбляться не предоставлено), а потом сказали милостивое слово: der Kurs 213 пф., то есть русский рубль с лишком на марку стоит дешевле против нормальной цены. В заключение, обыскав наши багажи (весьма, впрочем, деликатно) и удостоверившись по нашим простодушным физиономиям, что отныне все марки и пфенниги, сколько бы таковых у нас ни оказалось, мы не токмо за страх, но и за совесть обязываемся сполна расходовать на пользу германского отечества, объявили нас от митирогнозии свободными

.

Странное дело! покуда мы пробирались к Вержболову (немцы уж называют его Wirballen), никому из нас не приходило в голову выглядывать в окна и любопытствовать, какой из них открывается пейзаж. Как-то само собой предполагалось, что все известно и переизвестно. «Мокрое место, по которому растет ненастоящий лес» – вот картина, которую ожидал встретить взор и во избежание которой всякий старался убить время независимо от впечатлений родной природы. Одни, не разгибая спины, «винтили». Другие во всеуслышание

роптали, что никакой «заграницы» не нужно и что всю эту «заграницу» выдумали их дамочки, которые, под предлогом исправления супружеских почек и легких, собрались ловить по курзалам бонапартистов всех наименований. Третьи всеминутно тосковали, «каким-то нас курсом батюшка-Берлин наградит».

– Кажется, мы нынче смирно сидим… Ни румынов, ни греков, ни сербов, ни болгар – ничего за нами нет! пора бы уж и нам милостивое слово сказать! – слышалось в одном углу.

– Ну, батенька, и за саранчу тоже не похвалят! – где-то по соседству раздавалось в ответ.

Даже два старца (с претензией на государственность), ехавшие вместе с нами, – и те не интересовались своим отечеством, но считали его лишь местом для получения присвоенных по штатам окладов. По-видимому, они ничего не ждали, ни на что не роптали, и даже ничего не мыслили, но в государственном безмолвии сидели друг против друга, спесиво хлопая глазами на прочих пассажиров и как бы говоря: мы на счет казны нагуливать животы едем!

Живя в Петербурге, я знал об этих старцах по слухам; но эти слухи имели такой определенный характер, что, признаюсь, до самого Эйдткунена

я с величайшим беспокойством взирал на них. Я так и ждал, что они вынут казенные подорожные и скажут: а нуте, предъявляйте свои сердца! И тогда прощай, Эмс, прощайте, Баден-Баден, Интерлакен, Париж! Один был малого роста, сложен кряжем и назывался по фамилии Дыба; другой был длинен, сухощав, взвивался и сокращался, словно змей, и назывался по фамилии Удав. Оба состояли в чине бесшабашного советника, и у каждого было по трещине вдоль черепа. Один прошел школу графа Михаила Николаевича в качестве чиновника для преступлений; другой прошел школу графа Алексея Андреевича в качестве чиновника для чтения в сердцах

. Оба служат представителями новой департаментско-курьерской аристократии. У одного в гербе была изображена, в червленом

поле, рука, держащая серебряную урну с надписью: не пролей! у другого – на серебряном поле – рука, держащая золотую урну с надписью: содержи в опрятности! Из чего дозволялось заключать, что оба происходят не от Рюрика. Оба в юных летах думали скончать жизнь в столоначальнических должностях, но, благодаря беззаветной свирепости при исполнении начальственных предписаний, были замечены, понравились и удостоены повышения в чинах и должностях. И, в довершение всего, у обоих, по смерти, вместо монументов будет воткнуто на могилах по осиновому колу. Спрашивается: в виду столь жестоковыйных идолов можно ли было не трепетать, пока Эйдткунен не предстал перед нами в качестве несомненной действительности?

И в самом деле, в Эйдткунене картина изменилась, как бы волшебством. Винтившие бросили русские карты и на первых порах как бы совестились продолжать винт в немецком вагоне. Пассажиры, роптавшие на жен, смирились, а те, которые ожидали милости от «батюшки-Берлина», прочитавши: der Kurs 213, окончательно убедились, что за саранчу не похвалят. Что же касается до государственных старцев, то я просто их не узнал. Как только с них сняли в Эйдткунене чины, так они тотчас же отлучились и, выпустив угнетавшую их государственность, всем без разбора начали подмигивать. И шафнеру немецкого вагона, и француженке, ехавшей в Париж за товаром, и даже мне… И всем, казалось, говорили: не таите помышлений ваших, ибо нынче у нас в Петербурге… вольно!

И вот едва мы разместились в новом вагоне (мне пришлось сесть в одном спальном отделении с бесшабашными советниками), как тотчас же бросились к окнам и начали смотреть.

Природа, которая открывалась перед нами, мало чем отличалась от только что оставленной мною природы русско-чухонского поморья, в песках которого ютилось знакомое читателю Монрепо

. Та же низменная равнина, те же рудо-желтые пески, вперемежку с торфяными низинками. Но ни кочкарника, ни мхов, ни лезущего отовсюду лозняка, ни еле дышащей, одиноко стоящей и во все стороны гнущейся березки – и в помине нет. И справа и слева тянутся засеянные поля, к которым гораздо более идет эпитет «необозримых», нежели, например, к полям Тверской или Ярославской

губерний и вообще средней полосы России. Я видал такие обширные полевые пространства в южной половине Пензенской губернии

, по, под опасением возбудить в читателе недоверие, утверждаю, что репутация производства так называемых «буйных» хлебов гораздо с большим нравом может быть применена к обиженному природой прусскому поморью, нежели к чембарским благословенным пажитям, где, как рассказывают, глубина черноземного слоя достигает двух аршин. В Чембаре так долго и легкомысленно рассчитывали на бесконечную способность почвы производить «буйные» хлеба, что и не видали, как поля выпахались и хлеба присмирели. Здесь же, очевидно, ни на какие великие и богатые милости не рассчитывали, а, напротив, и денно и нощно только одну думу думали: как бы среди песков да болот с голоду не подохнуть. В Чембаре говорили: а в случае ежели бог дожжичка не пошлет, так нам, братцы, и помирать не в диковину! а в Эйдткунене говорили: там как будет угодно насчет дожжичка распорядиться, а мы помирать не согласны!

Почему на берегах Вороны говорили одно, а на берегах Прегеля другое – это я решить не берусь, но положительно утверждаю, что никогда в чембарских палестинах я не видал таких «буйных» хлебов, какие мне удалось видеть нынешним летом между Вержболовом и Кенигсбергом, и в особенности дальше, к Эльбингу. Это было до такой степени неожиданно (мы все заранее зарядились мыслью, что у немца хоть шаром покати и что без нашего хлеба немец подохнет), что некто из ехавших рискнул даже заметить:

– Вот увидите, что скоро отсюда к нам хлеб возить станут!

На что другой ехавший патриотически-задумчиво пробормотал:

– Ну, это уж, кажется, не тово… Этак, брат колбаса, ты, пожалуй, и вовсе нас в полон заберешь!

Но этого мало, что хлеба у немца на песках родятся буйные, у него и коровам не житье, а рай, благодаря изобилию лугов. При тех же самых условиях (тот же торф) выйдешь, бывало, в Монрепо посмотреть, как оно там произрастает, – и разом делается как-то нестерпимо скучно. Кажется, все было сделано: и канавы в прошлом году по осени чистили, и золото из Кронштадта целую зиму возили и по полянкам разбрасывали, а все проку нет. Куда ни глянешь – либо мох сплошной, либо какая-то бурая болячка, либо целая щетка молоденьких березок

выскочила, и только где-где занялась настоящая трава. Ну, разумеется, сейчас следствие.

– Иван! да точно ли вы золото из Кронштадта здесь валили?

– Помилуйте! вот и бумажки-с!

– Ну, стало быть, канавы осенью не прочистили как следует?

– И канавы нельзя лучше чистили, только в них вода, вишь, стоит…

– Отчего ж она не стекает?

– Да стеку ей нет – оттого. Еще спервоначалу Иван Павлыч (прежний вотчинник), как только эти самые луга затеял – все стеку искал. Сыщет, ан на следующую весну его песком затянет – давай песок разгребать. До воли мужик-от дешев был, разгребут стёк, канавы наново вычистят, – трава-то и уродится; а как подошла воля, разгребать-то и некем стало. По канавкам лозняк пошел, по полянкам мох выскочил, затягивает каждый год, да и шабаш. Ну, Иван Павлыч-то видит, что ежели тут хозяйствовать, так последние штаны с себя снять придется, – осердился, плюнул и продал всю Палестину. «Пропадайте, говорит, вы пропадом, а я на теплые воды ездить стану!»

И точно, как ни безнадежно заключение Ивана Павлыча, но нельзя не согласиться, что ездить на теплые воды все-таки удобнее, нежели пропадать пропадом в Петергофском уезде

. Есть люди, у которых так и в гербах значится: пропадайте вы пропадом – пускай они и пропадают. А нам с Иваном Павлычем это не с руки. Мы лучше в Эмс поедем да легкие пообчистим, а на зиму опять вернемся в отечество: неужто, мол, петергофские-то еще не пропали?

– Послушай, однако ж, Иван! как же мужики-то? у них ведь надел… обеспечение, братец, ведь это! Неужто ж и они стеку не могут сыскать?

– И мужики тоже бьются. Никто здесь на землю не надеется, все от нее бегут да около кое-чего побираются. Вон она, мельница-то наша, который уж месяц

пустая стоит! Кругом на двадцать верст другой мельницы нет, а для нашей вряд до Филиппова заговенья

помолу достанет. Вот хлеба-то здесь каковы!

Таковы порядки в Монрепо. А здесь, под Инстербургом

, сумели и стёк отыскать, и луга расчистить, и коровье житье устроить. Везде канавы чистые, без лозняка, и везде вынутый из канав торф сформован и сложен в стопки. Этим торфом и отапливаются, и сдабривают поля. Даже лес – и тот совсем не так безнадежно здесь смотрит, как привыкли думать мы, отапливающие кизяком и гречневой шелухой наши жилища на берегах Лопани и Ворсклы. С чего-то мы вообразили себе (должно быть, Печорские леса слишком часто нам во сне снятся)

, что как только перевалишь за Вержболово, так тотчас же представится глазам голое пространство, лишенное всякой лесной растительности. «Кабы не мы, немцу протопиться бы нечем» – эта фраза пользуется у нас почти такою же популярностью, как и та, которая удостоверяет, что без нашего хлеба немцу пришлось бы с голоду подохнуть. В действительности же все горы Германии покрыты отличнейшим лесом, да и в Балтийском поморье недостатка в нем нет. Вот под Москвой, так точно что нет лесов, и та цена, которую здесь, в виду Куришгафа, платят за дрова (до 28 марок за клафтер, около l

/

саж. нашего швырка), была бы для Москвы истинной благодатью, а для берегов Лопани, пожалуй, даже баснословием. И заметьте, что если цена на топливо здесь все-таки достаточно высока, то это только потому, что Германия вообще скупа на те произведения природы, которые возобновляются лишь в продолжительный период времени. А припустите-ка сюда похозяйничать русского лесничего с двумя-тремя русскими лесопромышленничками – они разом все рынки запрудят такой массой дров, что последние немедленно подешевеют наполовину…

Мне скажут, может быть, что прусское правительство исстари производило в восточной Пруссии опыты разработки земли в обширных размерах и тратило на это громадные суммы без всякой надежды на их возврат… Что ж! против этого я, конечно, ничего возразить не имею.

Между тем наш поезд на всех парах несся к Кенигсбергу; в глазах мелькали разноцветные поля, луга, леса и деревни. Физиономия крестьянского двора тоже значительно видоизменилась против довержболовской. Изба с выбеленными стенами и черепичной крышей глядела веселее, довольнее, нежели довержболовский почерневший сруб с всклокоченной соломенной крышей. Это было жилище, а не изба в той форме, в какой мы, русские, привыкли себе ее представлять.

Я смотрел вместе с прочими на эту картину и невольно задумывался. Я не скажу, чтоб сравнения, которые при этом сами собой возникали, были обидны для моего самолюбия (у меня на этот случай есть в запасе прекрасная поговорка: моя изба с краю), но не могу скрыть, что чувствовалась какая-то непобедимая неловкость. Передо мной воочию метался тот «повинный работе» человек, который, выбиваясь из сил, надрываясь и проливая кровавый пот, в награду за свою вечную страду получит кусок мякинного хлеба. Есть что-то мучительно загадочное в этом сопоставлении мякинного хлеба и вечной страды. Каким образом выработалось это сопоставление, и почему оно вылилось в такую неподвижную форму, что скорее можно разбить себе лоб, чем видоизменить ее? Ужели на этот вопрос никогда не будет другого ответа, кроме: не твое дело?

Пусть читатель не думает, однако ж, что я считаю прусские порядки совершенными и прусского человека счастливейшим из смертных. Я очень хорошо понимаю, что среди этих отлично возделанных полей речь идет совсем не о распределении богатств, а исключительно о накоплении их; что эти поля, луга и выбеленные жилища принадлежат таким же толстосумам-буржуа, каким в городах принадлежат дома и лавки, и что за каждым из этих толстосумов стоят десятки кнехтов

, в пользу которых выпадает очень ограниченная часть этого красивого довольства.

Я нимало не сомневаюсь, что в звании кнехта очень мало лестного, но разве кнехты родятся, только начиная с Эйдткунена? разве политико-экономические

основания, которые практикуются под Инстербургом, не совершенно равносильны тем, которые практикуются и под Петергофом? Увы! я совершенно искренно убежден, что в этом отношении обе местности могут аттестовать себя равно способными и достойными и что инстербургский толстосум едва ли даже не менее жаден, нежели, например, купец Колупаев, который разостлал паутину кругом Мопрепо. Я знаю, что многие думают так: мы бедны, но зато у нас на первом плане распределение богатств; однако ж, по мнению моему, это только одни слова. Поверьте, что в Петергофском уезде распределение богатств гораздо в большей степени зависит от господина Колупаева, нежели в Инстербургском уезде от господина Гехта (Hoecht – щука). И я убежден, что если бы Колупаеву даже во сне приснилось распределение, то он скорее сам на себя донес бы исправнику, нежели допустил бы подобную пропаганду на практике. Стало быть, никакого «распределения богатств» у нас нет, да, сверх того, нет и накопления богатств. А есть простое и наглое расхищение.

И еще говорят: в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли. Но говорящие таким образом прежде всего забывают, что существует громадная масса мещан, которая исстари не имеет иных средств существования, кроме личного труда, и что с упразднением крепостного права к мещанам присоединилась еще целая масса бывших дворовых людей, которые еще менее обеспечены, нежели мещане. А кроме того, забывают еще и то, что около каждого «обеспеченного наделом»

выскочил Колупаев, который высоко держит знамя кровопивства, и ежели назовет еще «обеспеченных» кнехтами, то уже довольно откровенно отзывается об мужике, что «в ём только тогда и прок будет, коли ежели его с утра до ночи на работе морить».

Вместо того чтоб уверять всуе, что вопрос о распределении уже разрешен нами на практике, мне кажется, приличнее было бы взглянуть в глаза Колупаевым и Разуваевым и разоблачить детали того кровопивственного процесса, которому они предаются без всякой опаски, при свете дня. Cur? quomodo?[4 - Почему? каким образом?] и в особенности – quibus auxiliis

.[5 - с чьей помощью?] Вот, если это quibus auxiliis как следует выяснить, тогда сам собою разрешится и другой вопрос: что такое современная русская община и кого она наипаче обеспечивает, общинников или Колупаевых?

А то выдумали: нечего нам у немцев заимствоваться; покуда-де они над «накоплением» корпят, мы, того гляди, и политическую-то экономию совсем упраздним

. Так и упразднили… упразднители! Вот уже прослышит об вашем самохвальстве купец Колупаев, да quibus auxiliis и спросит: а знаете ли вы, робята, как Кузькину сестрицу зовут? И придется вам на этот вопрос по сущей совести ответ держать.

Вообще я полагаю, что у нас практически заниматься вопросом о «распределении богатств» могут только Политковские да Юханцевы

. Эти не поцеремонятся: придут, распределят, и никто их ни потрясателями основ, ни сеятелями превратных толкований не назовет, потому что они воры, а не сеятели. Да и теоретически заняться этим вопросом, то есть разговаривать или писать об нем, – тоже дело неподходящее, потому что для этого нужно выполнить множество подготовительных работ по вопросам о Кузькиной сестре, о бараньем роге, о Макаре, телят не гоняющем, об истинном значении слова «фюить» и т. п. Спрашивается: много ли найдется людей, которым такой труд по силам? Напротив того, в Инстербурге подготовительные работы этого рода уже упразднены, так что теоретической разработкой вопроса о распределении можно заниматься и без них. Ибо это вопрос человеческий, а здесь с давних пор повелось, что человеку о всех, до человека относящихся вопросах, и говорить, и рассуждать, и писать свойственно. У нас же свойственно говорить, рассуждать и писать: ура!

Итак, в Эйдткунене кнехты и в Вержболове кнехты; в Эйдткунене – господин Гехт, в Вержболове – господин Колупаев; в Эйдткунене нет распределения, но есть накопление; в Вержболове тоже нет распределения, но нет и накопления. Вот в каком положении находятся дела. Однако ж я был бы неправ, если бы скрыл, что на стороне Эйдткунена есть одно важное преимущество, а именно: общее признание, что человеку свойственно человеческое. Допустим, что признание это еще робкое и неполное и что господин Гехт, конечно, употребит все от него зависящее, чтоб не допустить его чрезмерного распространения, но несомненно, что просвет уже существует и что кнехтам от этого хоть капельку да веселее.

Мне кажется, что это признание есть начало всего и что из него должно вытечь все то разумное и благое, на чем зиждется прочное устройство общества. Только тогда, когда это признание сделается совершившимся фактом, смягчатся нравы, укротится людская дикость, исчезнут расхитители, процветут науки и искусства и даже начнут родиться «буйные» хлеба. И ежели раз общество добилось этого признания, то нужно, чтоб оно держалось за него крепко и помнило всеминутно, что, чем шире прольется в жизнь струя «человеческого», тем светлее, счастливее, благодатнее будет литься существование самого общества. Но, во всяком случае, достижение этого признания должно быть первою и главнейшею целью всего общества, и худо рекомендует себя та страна, где сейчас слышится: отныне вы можете открыто выражать ваши мысли и желания, а следом за тем: а нуте, посмотрим, как-то вы будете открыто выражать ваши мысли и желания! Или: отныне вы будете сами свои дела ведать, а следом за тем: а нуте попробуйте и т. д. Такому обществу ничего другого не остается, как дать подписку, что члены его все до единого, от мала до велика, во всякое время помирать согласны.

* * *

Надо сказать правду, в России в наше время очень редко можно встретить довольного человека (конечно, я разумею исключительно культурный класс, так как некультурным людям нет времени быть недовольными). Кого ни послушаешь, все на что-то негодуют, жалуются, вопиют. Один говорит, что слишком мало свобод дают, другой, что слишком много; один ропщет на то, что власть бездействует, другой – на то, что власть чересчур достаточно действует; одни находят, что глупость нас одолела, другие – что слишком мы умны стали; третьи, наконец, участвуют во всех пакостях и, хохоча, приговаривают: ну где такое безобразие видано?! Даже расхитители казенного имущества – и те недовольны, что скоро нечего расхищать будет. И всякий требует лично для себя конституции: мне, говорит, подай конституцию, а прочие пусть по-прежнему довольствуются ранами и скорпионами.

Эта всеобщность недовольства

, сопряженная с пожеланием самых приятных проектов лично для себя и с полнейшим равнодушием относительно жизненной обстановки соседа, представляется для меня фактом тем более замечательным, что фрондерство, по-видимому, заползает в сердце самых твердынь. И вдобавок фрондерство до

того разношерстное, что уловить оттенки его (а стало быть, и удовлетворить капризные требования этих оттенков) нет никакой возможности. За примерами ходить недалеко. Когда делили между чиновниками сначала западные губернии, а впоследствии Уфимскую

, то мы были свидетелями явлений, поистине поразительных. Казалось бы, уж на что лучше: урвал кусок казенного пирога – и проваливай! Так нет же, тут-то именно и разыгрались во всей силе свара, ненависть, глумление и всякое бесстыжество, главною мишенью для которых – увы! – послужила именно та самая неоскудевающая рука, которая и дележку-то с тою специальною целью предприняла, чтоб угобзить господ чиновников и, само собой разумеется, в то же время положить начало корпорации довольных. Пускай, мол, хоть малый прыщ вначале вскочит, а потом, не торопясь да богу помолясь, и большого волдыря дождемся…

А между тем вышло совсем, совсем напротив.

Я помню, иду я в разгар одного из таких дележей по Невскому и думаю: непременно встречу кого-нибудь из знакомых, который хоть что-нибудь да утащил. Узнаю, как и что, да тут же уж кстати и поздравлю с благополучным похищением. И точно, едва я успел сойти с Аничкина моста, смотрю, его превосходительство Петр Петрович идет.

– Урвали? – спрашиваю.

– Помилуйте! на что похоже! выбросили кусок, да еще ограничивают! Говорят, пользуйся так-то и так-то: лесу не руби, травы не мни, рыбы не лови! А главное, не смей продавать, а эксплуатируй постепенно сам! Ведь только у нас могут проходить даром подобные нелепости.

– Сс… да ведь, я думаю, это больше на бумаге, а на деле, вероятно…

– Еще бы! Поймите, разве естественно, чтоб человек сам себе зложелательствовал! Лесу не руби! ах, черт побери! Да я сейчас весь лес на сруб продал… ха-ха!

Пройдя еще несколько шагов, встречаю его превосходительство Ивана Иваныча.

– Урвали?

– Получил, между прочим, и я; да, кажется, только грех один. Помилуйте! плешь какую-то отвалили! Ни реки, ни лесу – ничего! «Чернозём», говорят. Да черта ли мне в вашем «чернозёме», коли цена ему – грош! А коллеге моему Ивану Семенычу – оба ведь под одной державой, кажется, служим – тому такое же количество леса, на подбор дерево к дереву, отвели! да при реке, да в семи верстах от пристани! Нет, батенька, не доросли мы! Ой-ой, как еще не доросли! Оттого у нас подобные дела и могут проходить даром!

– Ваше превосходительство! да вы бы на место съездили, осмотрелись бы, посоветовались бы, да и тово… В старину говаривали: по нужде и закону премена бывает, а нынче то же изречение только в другой редакции выразить – смотришь, и выйдет: по нужде и чернозёму премена бывает?! И будет у вас вместо плеши густорастущий лес!

– А что вы думаете, ведь это идея! съездить разве в самом деле… ха-ха! Ведь у нас… Право, отличная штука выйдет! Все была плешь, и вдруг на ней строевой лес вырос… ха-ха! Ведь у нас волшебства-то эти… ха-ха! Благодарю, что надоумили! Съезжу, непременно съезжу… ха-ха!

Еще несколько шагов – идет навстречу его превосходительство Терентий Терентьич. Этот даже вопроса не выжидает, прямо заливается-хохочет.

– Ха-ха! ведь и меня наделили! Как же! заполучил-таки тысячки две чернозёмцу! Вот так потеха была! Хотите? – говорят. Ну, как, мол, не хотеть: с моим, говорю, удовольствием! А! какова потеха! Да, батенька, только у нас такие дела могут даром проходить! Да-с, только у нас-с. Общественного мнения нет, печать безмолвствует – валяй по всем по трем! Ха-ха!

Вот какие результаты произвел факт, который в принципе должен был пролить мир и благоволение в сердцах получателей. Судите по этим образчикам, насколько наивны должны быть люди, которые мечтают, что есть какая-нибудь возможность удовлетворить человека, который урывает кусок пирога и тут же выдает головой и самого себя, и своих ублаготворителей?

Но ежели такое смешливое настроение обнаруживают даже люди, получившие посильное угобжение, то с какими же чувствами должны относиться к дирижирующей современности те, которые не только ничего не урвали, но и в будущем никакой надежды на угобжение не имеют? Ясно, что они должны представлять собой сплошную массу волнуемых завистью людей.

– Сказывают, что в Вятской губернии еще полезные лесочки втуне лежат? – говорил мне на днях один бесшабашный советник, о котором при дележках почему-то не вспомнили.

Перед этим он только что сквернословил, роптал и вопил. Рассказывал расхитительные анекдоты, цитировал свой формулярный список, перечислял по пальцам свои формулярные преступления и доказывал как дважды два, что преступления, совершенные теми, которым судьба поблагоприятствовала при дележке, ничто в сравнении с теми, которые выпали на долю его обделенного бесшабашного советника. И вдруг, в самом разгаре сквернословия, вспомнил, что остается еще в резерве Вятская губерния, и умилился. Ласковыми глазами глянул он мне в глаза, как бы ища в них подтверждения, что Вятская губерния еще не ушла. Глядел и как-то покорно ждал. Однако ж я, по совести, не мог доставить ему искомого утешения. Во-первых, я должен был указать ему, что ныне начальство строгое и никаких территориальных усовершенствований ради него, бесшабашного советника, в Вятской губернии не допустит; во-вторых, я вынужден был объяснить, что хотя и действительно слыхивал о полезных лесочках в Вятской губернии, но это было уж очень давно, так что теперь от этих лесочков, вероятно, остались одни пеньки.

– Ну вот! – воскликнул он горестно, – не говорил ли я вам! Где это видано! где допустили бы такое расхищение! давно ли такая, можно сказать, непроходимость была – и вдруг налицо одни пеньки!

И вновь во всю мочь принялся сквернословить, роптать на начальство и вопиять об отмщении.

Вообще было бы и любопытно и поучительно изучить современную культурную Россию с точки зрения сквернословия. Рассмотреть в подробности этих алчущих наживы, вечно хватающих и все-таки живущих со дня на день людей; определить резон, на основании которого они находят возможным существовать, а затем, в этой бесшабашной массе, отыскать, если возможно, и человека, который имеет понятие о «собственных средствах», который помнит

свой вчерашний день и знает наверное, что у него будет и завтрашний день. Увы! я вполне искренно убежден, что работа будет трудная, так как люди второй категории составляют положительную диковину.

Петербург полон наглыми, мечущимися людьми, которые хватают и тут же сыплют нахватанным, которые вечно глотают и никогда не насыщаются, и вдобавок даже не дают себе труда воздерживаться от циническогo хохота, который возбуждает в них самих их безнаказанность. Могут ли эти люди сознавать себя довольными? Могут ли они не скрежетать зубами, видя, что жизнь, несмотря на то, что они всячески стараются овладеть ею, все-таки не представляет вполне обеспеченного завтрашнего дня? Нет, по совести, не могут. Ибо самое беспорядочное положение вещей – и то не в состоянии удовлетворить той беспредельной жажды стяжания, той суеты и беспорядочности, которые в их глазах составляют истинный идеал беспечального жития. Вечный праздник, вечное скитание на чужой счет – очевидно, что никакое начальство, как бы оно ни было всемогуще, не может бессрочно обеспечить подобное существование.

Что же касается до провинций, то, по моему мнению, масса ропщущих и вопиющих должна быть в них еще компактнее, хотя причины, обусловливающие недовольство, имеют здесь совершенно иной характер. Все здесь соединилось, чтоб из бесконечного нытья сделать обычный провинцияльный modus vivendi.[6 - образ жизни] И голодное житье, и неспособность приспособиться к новым условиям жизни, и насильственная праздность, и удаленность от пирога, и отсутствие правильных устоев жизни – все идет навстречу провинциялу, все ставит ему непреодолимые препоны на пути, все запутывает, заставляет останавливаться в недоумении. Выкупные ссуды проедены или прожиты так, что почти, можно сказать, спущены в ватерклозет. Железнодорожными концессиями воспользовались немногие шустрые, которые украли и удрали в Петербург. Правда, остаются еще мировые суды и земства, около которых можно бы кой-как пощечиться, но, во-первых, ни те, ни другие не в силах приютить в своих недрах всех изувеченных жизнью, а, во-вторых, разве «благородному человеку» можно остаться довольным какими-нибудь полуторами-двумя тысячами рублей, которые предоставляет нищенское земство? Мне скажут, может быть, что и в провинции уже успело образоваться довольно компактное сословие «кровопивцев», которые не имеют причин причислять себя к лику недовольных; но ведь это именно те самые люди, о которых уже говорено выше и которые, в одно и то же время и пирог зубами рвут, и глумятся над рукою, им благодеющею.

– Ну, уж времечко! – говорит купец Колупаев соседу своему купцу Разуваеву, удивляясь, что оба они сидят на воле, а не в остроге.

– Такое время, Иван Прокофьич, что только не зевай! – поясняет купец Разуваев.

– Так-то так, а только… И откуда только они берутся, эти деньги, прах их побери!

И оба уходят, каждый под свою смоковницу, оба продолжают кровопивствовать, и каждый в глубине души говорит: «Ну, где ж это видано! у каких таких народов слыхано… ах, прах те побери!»

Нет, даже Колупаев с Разуваевым – и те недовольны. Они, конечно, понимают, что «жить ноне очень способно», но в то же время не могут не тревожиться, что есть тут что-то «необнакавенное», чудное, что, идя по этой покатости, можно, того гляди, и голову свернуть. И оба начинают просить «констинтунциев»… Нам чтоб «констинтунциев» дали, а толоконников чтоб к нам под начал определили

, да чтоб за печатью: и ныне и присно и во веки веков.

. . ..

Натурально, я понимал, что около меня целый вагон кишит фрондерами, и только ожидал отвала из Эйдткунена, чтоб увидеть цветение этого фрондерства в самом его разгаре. Но, признаюсь, всего более меня интересовали в этом отношении бесшабашные советники. Наравне с другими, они любознательно вглядывались в расстилавшуюся по обеим сторонам дороги долину, и почему-то мне казалось, что они делают это неспроста. Наверное, думалось мне, они смотрят и в то же время какое-нибудь мероприятие выдумывают. Не вроде тех, какие у нас, «в прекрасном далеко», через час по ложке прописывают

, а такое, чтоб сразу совсем тошно сделалось. Уже за границей, на досуге, выдумают, а домой приедут, изложат. Сколько смеху-то будет!

Говоря по совести, бесшабашные советники не только мне не претят, но я чувствую к ним почти непозволительную слабость. Все в них мне нравится: и неожиданность суждений, и безыскусственная несвязность речей, и простодушная готовность во всякое время совершить какое угодно мероприятие. Даже трещина в черепе, которая постепенно, по мере утолщения формулярного списка, у каждого из них образовывается, – и та не представляется мне зазорною, ибо я знаю, что она установлена для того, чтоб предписания начальства быстрее доходили по назначению. Бояться бесшабашных советников я, конечно, считаю своею прирожденною обязанностью, но боюсь не потому, чтоб они представлялись мне преисполненными злобы, а потолику, поколику они являются вместителями казенного интереса. По казенной надобности они воспламеняются и свирепеют с изумительной легкостью, но в домашнем быту, и в особенности на водах за границей, они такие же люди, как и прочие. У большинства их есть семейства, в которых они являются нежными супругами и любящими отцами, а у некоторых, сверх того, имеются и француженки, которых они, разумеется, содержат на казенный счет. В качестве партикулярных людей многие из них не прочь почитать и даже «писнуть» что-нибудь, в карамзинско-державинском роде

. Затем все вообще любят получать хорошие содержания и аренды. Словом сказать, это обыкновенные «русские люди», у которых брюхо болит, если где плохо лежит. Разумеется, однако ж, если б меня спросили, могу ли я хоть на один час поручиться, чтоб такой-то бесшабашный советник, будучи предоставлен самому себе, чего-нибудь не накуролесил, то я ответил бы: нет, не могу! Но так как никто об этом меня не спрашивает, то я ограничиваюсь тем, что озираюсь по сторонам и шепчу: твори, господи, волю свою! И затем, когда встречаюсь с бесшабашным советником лицом к лицу, то стоит только мне представить себе, что я иду мимо монумента, который, того гляди, на меня упадет, – и я спокоен. Ну, упадет, ну, раздавит – только и всего. А может быть, и не на меня упадет, а на другого, или и совсем ни на кого не упадет, а просто останется стоять на страх врагам. Ибо, повторяю, тут все зависит от того, какая в данную минуту казенная надобность на очереди состоит.

Вообще я весьма неохотно завиняю людей и знаю очень мало таких, которые были бы с ног до головы противуестественны. Но не могу умолчать, что деятельность большинства встречаемых нами нежных супругов и любящих отцов очень мало мне симпатична. Есть между ними такие, которые представляют собой как бы неистощимый сосуд вреднейших мероприятий, и есть другие, которые хотя самостоятельно мероприятий не выдумывают, но

имеют специальностью усугублять вредоносную сущность чужих выдумок. Бывают даже такие личности, которые, покуда одеты в партикулярное платье, перелагают Давидовы псалмы

, а как только наденут вицмундир, так тотчас же начинают читать в сердцах посторонних людей, хотя бы последние совсем их об этом не просили. Вот почему я не со всяким встречным связываюсь и предпочитаю быть осторожным с людьми, не помнящими родства. Однажды со мной, по неопытности, ужаснейший случай был. Ходил я в Эмсе вокруг курзала и, по обыкновению, «жалел» об отечестве. И вдруг подходит ко мне простодушнейший мужчина, в теплом картузе с козырьком, точно вот сейчас из-под Гадяча выскочил. Словом сказать, один из тех, о которых в песне поется:

У огороди – бузина.

У Кыеви – дядя,

Я зато тебе люблю,

Що у тебе перстень…

Так вот этот самый «киевский дядя» подходит и голосом, исполненным умиления, говорит:

– Так и вы нашу Россию жалеете? Ах, как приятно! Признаюсь, я на здешней чужбине только тем и утешаюсь, что вместе с великим Ломоносовым восклицаю:

О ты, что в горести напрасно

На бога ропщешь человек…

Не успел я опомниться, как он уж держал мою руку в своих и крепко ее жал. И очень возможно, что так бы и привел он меня за эту руку в места не столь отдаленные, если б из-за угла не налетел на нас другой соотечественник и не закричал на меня:

– Вы это что делаете? вы кому руку-то жмете? ведь это…

И он назвал его «постоянное занятие»…

Как я уже сказал выше, мне пришлось поместиться в одном спальном отделении с бесшабашными советниками. Натурально, мы некоторое время дичились друг друга. Старики вполголоса переговаривались между собой и, тихо воркуя, сквернословили. Оба были недовольны, оба ссылались на графа Михаила Николаевича и на графа Алексея Андреича, оба сетовали не то на произвол власти, не то на умаление ее – не поймешь, на что именно. Но что меня всего больше огорчило – оба искали спасения… в конституции!!

– Такую нам конституцию надо, – либеральничал Удав, – чтоб лбы затрещали!

А Дыба, с своей стороны, присовокуплял:

– Покойный граф Михаил Николаевич эту конституцию еще когда провидел! Сколько раз, бывало, при мне самолично говаривал: я им ужо пропишу… конституцию!

И в заключение, не входя в дальнейшие разъяснения, оба порешили, что «как там ни вертись, а не минешь что-нибудь предпринять, чтоб „лбы затрещали“. А затем, грозя очами по направлению к Вержболову, перешли к вопросу о „кушах“. Как известно, „конституция“ и „куши“ составляют больное место русской современности, но „конституцию“ понимают смутно и каждый по-своему, а „куши“ всеми понимаются ясно и одинаково. Так было и тут. Как только зашла речь о „кушах“, бесшабашные советники почувствовали себя как рыба в воде и сразу насытили воздух вагона рассказами самого игривого свойства. С одной стороны, приводились бесчисленные примеры благополучного казнокрадства; с другой – произносились имена, высчитывались суммы, указывались лазейки. Без утайки, нараспашку. Одним словом, повествовалось что-то до такой степени необъятное и неслыханное, что меня чуть не бросило в лихорадку. И в заключение опять:

– Именно конституцию прописать надо! такую конституцию, чтоб небу было жарко!

Наконец, наговорившись и нахохотавшись досыта между собой, бесшабашные советники нашли своевременным и меня привлечь к интимному сквернословию.

– Вот здесь хлеба-то каковы! – сказал Дыба, подмигивая мне, – и у нас бы, по расписанию, не хуже должны быть, ан вместо того саранча… Ишь ведь! саранчу ухитрились акклиматизировать! Вы как об этом полагаете… а?

К счастью, я вспомнил про „киевского дядю“ и его „постоянное занятие“ и потому отвечал твердо, хотя и почтительно:

– Я так полагаю, ваши превосходительства, что ежели у нас жук и саранча даже весь хлеб поедят, то и тогда немец без нас с голоду подохнет!

Дыба с недоумением взглянул на меня.

– Гм… да, – произнес он, как бы поняв, – это ежели с точки зрения „предостережений“ и розничной продажи…

Но согласитесь сами, что здесь, под Инстербургом, подобного рода опасения…

– И с розничной продажей, и без розничной продажи, одинаково утверждаю: подохнет немец без нас! – воскликнул я еще с большею настойчивостью.

Столь любезно-верная непреоборимость была до того необыкновенна, что Удав, по старой привычке, собрался было почитать у меня в сердце, но так как он умел читать только на пространстве от Восточного океана до Вержболова, то, разумеется, под Эйдткуненом ничего прочесть не сумел.

– Но для чего же вы непременно настаиваете, чтоб немец подох? – спросил он в недоумении.

– Собственно говоря, я никому напрасной смерти не желаю, и если сейчас высказался не в пользу немца, то лишь потому, что полагал, что таковы требования современной внутренней политики. Но если вашим превосходительствам, по обстоятельствам службы, представляется более удобным, чтоб подох русский, а немец торжествовал, то я противодействовать предначертаниям начальства даже в сем крайнем случае не считаю себя вправе.

– Но почему же? почему?

– А потому, ваши превосходительства, что, во-первых, я ничего не знаю. Может быть, для пользы службы необходимо, чтоб русский подох или, по малой мере, обмер? Конечно, если бы он весь подох, без остатка – это было бы для меня лично прискорбно, но ведь мое личное воззрение никому не нужно, а сверх того, я убежден, что поголовного умертвия все-таки не будет и что ваши превосходительства хоть сколько-нибудь на раззавод да оставите. А во-вторых, я отлично понимаю, что противодействие властям, даже в форме простого мнения, у нас не похваляется, а так как лета мои уже преклонные, то было бы в высшей степени неприятно, если б в ушах моих неожиданно раздалось… фюить!

– Что так! новых-то впечатлений, стало быть, уж не ищете? – любезно осклабился Дыба.

– Довольствуюсь старыми, ваши превосходительства. Люблю свое отечество, но подробно изучать его статистику предпочитаю из устных и печатных рассказов местных исследователей.

– Гм… да… А ведь истинному патриоту не так подобает… Покойный граф Михаил Николаевич недаром говаривал: путешествия в места не столь отдаленные не токмо не вредны, но даже не без пользы для молодых людей могут быть допускаемы, ибо они формируют характеры, обогащают умы понятиями, а сверх того разжигают в сердцах благородный пламень любви к отечеству! Вот-с.

– Знаю я это, ваши превосходительства, – ответил я кротко, – но думаю, что и независимо от путешествий люблю свое отечество самым настоящим манером. А именно: люблю ваши превосходительства и считаю священнейшею обязанностью исполнять все ваши предначертания. Знаю, что вам наверху виднее, и потому думаю лишь о том, чтоб снискать ваше расположение. Ежели я в этом успею, то у меня будет избыточествовать и произбыточествовать; если же не успею, то у меня отнимется и последнее. Вот в каком смысле я понимаю любовь к отечеству, а все прочие сорты таковой отвергаю, яко мечтательные. Полагаю, что этого достаточно?

– Гм… однако ж, в литературе не часто приходится читать подобные благоразумные мнения, – приятно огрызнулся Дыба.

– Ваши превосходительства! позвольте вам доложить! Я сам был много в этом отношении виноват и даже готов за вину свою пострадать, хотя, конечно, не до бесчувствия… Долгое время я думал, что любовь к отечеству выше даже любви к начальственным предписаниям; но с тех пор как прочитал брошюры г. Цитовича

, то вполне убедился, что это совсем не любовь к отечеству, а фанатизм, и, разумеется, поспешил исправиться от своих заблуждений.

Это было высказано с такою горячего искренностью, что и Дыба и Удав – оба были тронуты.

– Может быть! может быть! – задумчиво молвил Дыба, – мне самому, по временам, кажется, что иногда мы считаем человека заблуждающимся, а он между тем давно уже во всем принес оправдание и ожидает лишь случая, дабы запечатлеть… Как вы полагаете, ваше превосходительство? – обратился он к Удаву.

– На этот случай я могу рассказать вашему превосходительству следующее истинное происшествие, о котором мне передавал мой духовник, – отвечал Удав. – Жили в одном селении две Анны, и настал час одной из них умирать. Только послал бог к ней по душу своего ангела, а ангел-то и ошибись: вместо того, чтоб взять душу у подлежащей Анны, взял ее у другой. Хорошо-с. Та ли Анна, другая ли Анна – все равно приходится попам хоронить. И что ж! только что стали новопреставленную Анну на литии поминать, как вдруг сверху голос: Анна, да не та! Так точно, думается мне, и в настоящем случае: часто мы себе человека нераскаянным представляем, а он между тем за раскаяние давно уж в титулярные советники произведен. Федот, да не тот!

Высказавшись таким образом, мы подивились премудрости и на минуту смолкли.

– А впрочем, по нынешнему времени и мудреного мало, что некоторые впадают в заблуждения, – задорливо начал Дыба, – нельзя! Посмотрите, что кругом делается?

Где власть? где, спрашиваю вас, власть? Намеднись прихожу за справкой в департамент Расхищений и Раздач

– был уж второй час – спрашиваю: начальник отделения такой-то здесь? – Они, говорят, в три часа приходят. – А столоначальник здесь? – И они, говорят, раньше как через час не придут. – Кто же, спрашиваю, у вас дела-то делает? – Так, поверите ли, даже сторожа смеются!

– И после этого жалуются, что авторитеты попраны! основы потрясены!

– Нет, хорошо, что литература хоть изредка да подбадривает… Помилуйте! личной обеспеченности – и той нет! Сегодня – здесь, а завтра – фюить!

Сказавши это, Удав совсем было пристроился, чтоб непременно что-нибудь в моем сердце прочитать. И с этою целью даже предложил вопрос:

– Ну, а вы… как вы насчет этой личной обеспеченности… в газетах нынче что-то сильно об ней поговаривают…

– И на этот счет могу вашим превосходительствам доложить, – ответил я, – личная обеспеченность – это такое дело, что ежели я сижу смирно, то и личность моя обеспечена, а ежели я начну фыркать да фордыбачить, то, разумеется, никто за это меня не похвалит. Сейчас за ушко да на солнышко – не прогневайся!

– Не прогневайся! – словно эхо, хотя вполне машинально, повторили Дыба и Удав.

– Потому что, по мнению моему, только то общество можно назвать благоустроенным, где всякий к своему делу определен. Так, например: ежели в расписании сказано, что такой-то должен получать дани, – тот пусть и получает; а ежели про кого сказано, что такой-то обязывается уплачивать дани, – тот пусть уплачивает. А не наоборот.

– А не наоборот! – повторили бесшабашные советники, дивясь моему разуму.

– Если же мы станем фордыбачить, да не захотим по расписанию жить, то нас за это – в кутузку!

– В кутузку! – повторило эхо.

Но, испустив это восклицание, бесшабашные советники спохватились, что, по выезде из Эйдткунена, даже по расписанию положено либеральничать, и потому поспешили поправиться.

– Но по суду или без суда? – почти испуганно спросил меня Дыба.

– И по суду, и без суда – это как будет вашим превосходительствам угодно. Но что касается до меня, то я думаю, что без суда, просто по расписанию, лучше.

– Од-на-ко?!

– Я знаю, вашим превосходительствам угодно, вероятно, сказать, что в последнее время русская печать в особенности настаивала на том, чтоб всех русских жарили по суду

. Но я – не настаиваю. Прежде, грешный человек, и я думал, что по суду крепче, а теперь вижу, что крепко и без суда. Вместо того, чтоб судиться, да по мытарствам ходить, я лучше прямо к вашим превосходительствам приду: виноват! Вы меня в одну минуту рассудите. Ежели я не очень виноват – сейчас меня мерами кротости доймете, а ежели виноват кругом – фюить! По пословице: любишь кататься, люби и саночки возить… не прогневайся!

– Не прогневаться! – цыркнул было Дыба, но опять спохватился и продолжал: – Позвольте, однако ж! если бы мы одни на всем земном шаре жили, конечно, тогда все равно… Но ведь нам и без того в Европу стыдно нос показать… надо же принять это в расчет… Неловко.

– А если неловко, то надо такой суд устроить, чтоб он был и все равно как бы его не было!

– Вот… это отлично!

– И все это я говорю перед вашими превосходительствами по сущей совести, так точно, как в том ответ перед вышним начальством дать надлежит!

Как ни лестно было для бесшабашных советников это признание, однако ж они сидели друг против друга и недоверчиво покачивали головами.

– Послушайте, однако ж! – сказал Удав, – а как же вы насчет этих расхищений полагаете? Ужели же и это можно… простить?

Он даже не договорил от волнения (очевидно, он принадлежал к числу „позабытых“), и в глазах его сверкнула слеза любостяжания.

– Расхищений не одобряю, – твердо ответил я, – но, с другой стороны, не могу не принять в соображение, что всякому человеку сладенького хочется.

После такого категорического ответа Удаву осталось только щелкнуть языком и замолчать. Но Дыба все еще не считал тему либерализма исчерпанною.

– Вот вы бы все это напечатали, – сказал он не то иронически, не то серьезно, – в том самом виде, как мы сейчас говорили… Вероятно, со стороны начальства препятствий не будет?

– У нас, ваши превосходительства, для выражения похвальных чувств никогда препятствий не бывает. Вот ежели бы кто непохвальные чувства захотел выражать – ну, разумеется, тогда не прогневайся!

– Не прогневайся! – подтвердил Дыба.

– Так вы, значит, думаете, что и свобода книгопечатания у нас существует? – попытался подловить меня Удав.

– У нас все существует, ваши превосходительства, только нам не всегда это известно. Я знаю, что многие отрицают существование свободы печати, но я – не отрицаю.

– Да… да! Чего бы, кажется: суды – дали, печать – дали, земство – дали, а между тем посмотрите кругом – много ли найдете довольных?

– А я, ваши превосходительства, так даже по горло доволен!

– Вот хоть бы земство, – молвил Дыба, – ну, разве это… мечта?!

– И насчет земства, ваши превосходительства, скажу: многие сомневаются в его существовании, а я – не сомневаюсь!

– И полагаете, что оно процветет?

– Непременно, ваши превосходительства, процветет. Вообще я полагаю, что мы переживаем очень интересное время. Такое интересное, такое интересное, что, кажется, никогда и ни в одной стране такого не бывало… Ах, ваши превосходительства!

– Ну, дай бог! дай бог!

Бесшабашные советники набожно перекрестились, и тонкие, обесцвеченные губы их машинально шептали: дай бог! дай бог!

– Но чем же вы объясните, – встрепенулся Дыба, – отчего здесь на песке такой отличный хлеб растет, а у нас и на черноземе – то дожжичка нет, то чересчур его много? И молебны, кажется, служат, а все хлебушка нет?

– А тем и объясню, ваши превосходительства, что много уж очень свобод у нас развелось. Так что ежели еще немножечко припустить, так, пожалуй, и совсем хлебушка перестанет произрастать…

Dixi et animam levavi,[7 - Сказал – и облегчил душу] или в русском переводе: сказал – и стошнило меня. Дальше этого profession de foi[8 - исповедания веры] идти было некуда. Я очень был рад, что в эту минуту наш поезд остановился и шафнер объявил, что мы на полчаса свободны для обеда.

* * *

Между Бромбергом и Берлином я заснул и видел чрезвычайно странный сон. Снилось мне, что я очутился в самой простой немецкой деревне и встретил семи-восьмилетнего крестьянского мальчика… в штанах! Никогда этого со мной не бывало. Много езжал я по нашим деревням, много видал в них крестьянских мальчиков – и всегда без штанов. Бежит кудластый мальчонка по деревенской улице, а ветер так и раздувает подол его замазанной рубашонки. Или шлепает

мальчонка босыми ногами по грязи, или, заворотив подол, сидит в луже и играется камешками… ах, бедный! А тут, в немецкой деревне, ни грязи, ни традиционной лужи – ничего такого не видать, да вдобавок еще штаны! Это до такой степени меня заинтересовало, что я поманил мальчика и вступил с ним в разговор.

– Скажи, немецкий мальчик, – спросил я, – ты постоянно ходишь в штанах?

– Когда я в первый раз без посторонней помощи прошел по комнате нашего дома, то моя добрая мать, обращаясь к моему почтенному отцу, сказала следующее: „Не правда ли, мой добрый Карл, что наш Фриц с нынешнего дня достоин носить штаны?“ И с тех пор я расстаюсь с этой одеждой только на ночь.

Мальчик высказал это солидно, без похвальбы, и без всякого глумления над странностью моего вопроса. По-видимому, он понимал, что перед ним стоит иностранец (кстати: ужасно странно звучит это слово в применении к русскому путешественнику; по крайней мере, мне большого труда стоило свыкнуться с мыслью, что я где-нибудь могу быть… иностранцем!!), которому простительно не знать немецких обычаев.

– Изумительно! – воскликнул я, – и ты не боишься запачкать штаны в грязи? ты решаешься садиться в них в лужу?

– Вопрос ваш до крайности удивляет меня, господин! – скромно ответил мальчик, – зачем я буду пачкаться в грязи или садиться в лужу, когда могу иметь для моих прогулок и игр сухие и удобные места? А главное, зачем я буду поступать таким образом, зная, что это огорчит моих добрых родителей?

– Великолепно! Но знаешь ли ты, немецкий мальчик, что существует страна, в которой не только мальчики, но даже вполне совершеннолетний камаринский мужик – и тот с голой… по улице бежит?

– Я еще не учился географии и потому не смею отрицать, что подобная страна возможна. Но… было бы очень жестоко с вашей стороны так шутить, господин!

– Я нимало не шучу, и ежели хочешь, то могу теперь же познакомить тебя с одним из таких мальчиков.

– Господин! вы в высшей степени возбудили во мне любопытство! Конечно, мне следовало не иначе принять ваше предложение, как с позволения моих добрых родителей; но так как в эту минуту они находятся в поле, и сверх того мне известно, что они тоже очень жалостливы к бедным, то надеюсь, что они не найдут ничего дурного в том, что я познакомлюсь с мальчиком без штанов. Поэтому если вы можете пригласить сюда моего бедного товарища, то я весь к его услугам.

Тогда, по манию волшебства (не надо забывать, что дело происходит в сновидении, где всякие волшебства дозволяются), в немецкую деревню врывается кудластый русский мальчик, в длинной рубахе, подол которой замочен, а ворот замазан мякинным хлебом. И между двумя сверстниками начинается драматическое представление под названием:

МАЛЬЧИК В ШТАНАХ И МАЛЬЧИК БЕЗ ШТАНОВ

Разговор в одном явлении

(Эта пьеса рекомендуется для детских спектаклей)

Театр представляет шоссированную улицу немецкой деревни. Мальчик в штанах стоит под деревом и размышляет о том, как ему прожить на свете, не огорчая своих родителей. Внезапно в средину улицы вдвигается обыкновенная русская лужа, из которой выпрыгивает Мальчик без штанов.

Мальчик в штанах (конфузясь и краснея в сторону). Увы! Иностранный господин сказал правду: он без штанов! (Громко.) Здравствуйте, мальчик без штанов! (Подает ему руку.)

Мальчик без штанов (не обращая внимания на протянутую руку). Однако, брат, у вас здесь чисто!

Мальчик в штанах (настойчиво). Здравствуйте, мальчик без штанов!

Мальчик без штанов. Пристал как банный лист… Ну, здравствуй! Дай оглядеться сперва. Ишь ведь как чисто – плюнуть некуда! Ты здешний, что ли?

Мальчик в штанах. Да, я мальчик из этой деревни. А вы – русский мальчик?

Мальчик без штанов. Мальчишко я. Постреленок.

Мальчик в штанах. Постреленок? что это за слово такое?

Мальчик без штанов. А это, когда мамка ругается, так говорит: ах, пострели те горой! Оттого и постреленок!

Мальчик в штанах (старается понять и не понимает).

Мальчик без штанов. Не понимаешь, колбаса? еще не дошел?

Мальчик в штанах. Вообще многое, с первого же взгляда, кажется мне непонятным в вас, русский мальчик. Правда, я начал ходить в школу очень недавно, и, вероятно, не все результаты современной науки открыты для меня, но, во всяком случае, не могу не сознаться, что ваш внешний вид, ваше появление сюда среди лужи и ваш способ выражаться сразу повергли меня в величайшее недоумение. Ни мои добрые родители, ни почтеннейшие наставники никогда не предупреждали меня ни о чем подобном… И, во-первых, с позволения вашего, объясните мне, отчего вы, русский мальчик, ходите без штанов?

Мальчик без штанов. Изволь, немец, скажу. Но прежде ты мне скажи, отчего ты так скучно говоришь?

Мальчик в штанах. Скучно?

Мальчик без штанов. Да, скучно. Мямлишь, канитель разводишь, слюнями давишься. Инда голову разломило.

Мальчик в штанах. Я говорю так же, как говорят мои добрые родители, а когда они говорят, то мне бывает весело. И когда я говорю, то им тоже бывает весело. Еще на днях моя почтенная матушка сказала мне: когда я слышу, Фриц, как ты складно говоришь, то у меня сердце радуется!

Мальчик без штанов. А у нас за такой разговор камень на шею, да в воду. У нас по всей земле такой приказ: разговор чтоб веселый был!

Мальчик в штанах (испуганно). Позвольте, однако ж, русский мальчик! Допустим, что я говорю скучно, но неужели это такое преступление, чтоб за него справедливо было лишить человека жизни?

Мальчик без штанов. «Справедливо»! Эк куда хватил! Нужно, тебе говорят; нужно, потому что такое правило есть.

Мальчик в штанах (хочет понять и не понимает).

Мальчик без штанов. У нас, брат, без правила ни на шаг. Скучно тебе – правило; весело – опять правило. Сел – правило, встал – правило. Задуматься, слово молвить – нельзя без правила. У нас, брат, даже прыщик и тот должен почесаться прежде, нежели вскочит. И в конце всякого правила или поронцы, или в холодную. Вот и я без штанов, по правилу, хожу. А тебе в штанах небось лучше?

Мальчик в штанах. Мне в штанах очень хорошо. И если б моим добрым родителям угодно было лишить меня этого одеяния, то я не иначе понял бы эту меру, как в виде справедливого возмездия за мое неодобрительное поведение. И, разумеется, употребил бы все меры, чтоб вновь возвратить их милостивое ко мне расположение!

Мальчик без штанов. Сопляк ты – вот что!

Мальчик в штанах. И этого я не понимаю.

Мальчик без штанов. Дались тебе эти родители! «Добрая матушка», «почтеннейший батюшка» – к чему ты эту канитель завел! У нас, брат, дядя Кузьма намеднись отца на кобеля променял! Вот так раз!

Мальчик в штанах (в ужасе). Ах, нет! это невозможно!

Мальчик без штанов (поняв, что он слишком далеко зашел в деле отрицания). Ну, полно! это я так… пошутил! Пословица у нас такая есть, так я вспомнил.

Мальчик в штанах. Однако, ежели даже пословица… ах, как это жаль! И как бесчеловечно, что такие пословицы вслух повторяют при мальчиках! (Плачет.)

Мальчик без штанов. Завыл, немчура! Ты лучше скажи, отчего у вас такие хлеба родятся? Ехал я давеча в луже по дороге – смотрю, везде песок да торфик, а все-таки на полях страсть какие суслоны наворочены!

Мальчик в штанах. Я думаю, это оттого, что нам никто не препятствует быть трудолюбивыми. Никто не пугает нас, никто не заставляет производить такие действия, которые ни для чего не нужны. Было время, когда и в нашем прекрасном отечестве все жители состояли как бы под следствием и судом, когда воздух был насыщен сквернословием и когда всюду, где бы ни показался обыватель, навстречу ему несся один неумолимый окрик: куда лезешь? не твое дело! В эту мрачную эпоху головы немцев были до того заколочены, что они сделались не способными ни на какое дело. Земля обрабатывалась небрежно и давала скудную жатву, обыватели жили, как дикие, в тесных и смрадных логовищах, а немецкие мальчики ходили без штанов. К счастию, эти варварские времена давно прошли, и с тех пор, как никто не мешает нам употреблять наши способности на личное и общественное благо, с тех пор, как из нас не выбивают податей и не ставят к нам экзекуций, мы стали усердно прилагать к земле наш труд и нашу опытность, и земля возвращает нам за это сторицею. О, русский мальчик! может быть, я скучно говорю, но лучше пусть буду я говорить скучно, нежели вести веселый разговор и в то же время чувствовать, что нахожусь под следствием и судом!

Мальчик без штанов (тронутый). Это, брат, правда твоя, что мало хорошего всю жизнь из-под суда не выходить. Ну, да что уж! Лучше давай насчет хлебов… Вот у вас хлеба хорошие, а у нас весь хлеб нынче саранча сожрала!

Мальчик в штанах. Слышал и я об этом и очень об вас жалел. Когда наш добрый школьный учитель объявил нам, что дружественное нам государство страдает от недостатка питания, то он тоже об вас жалел. Слушайте, дети! – сказал он нам, – вы должны жалеть Россию не за то только, что половина ее чиновников и

все без исключения аптекаря – немцы, но и за то, что она с твердостью выполняет свою историческую миссию. Как древле, выстрадав иго монголов, она избавила от них Европу, так и ныне, вынося иго саранчи, она той же Европе оказывает неоцененнейшую из услуг!

Мальчик без штанов. Нескладно что-то ты говоришь, немчура. Лучше, чем похабничать-то, ты мне вот что скажи: правда ли, что у вашего царя такие губернии есть, в которых яблоки и вишенье по дорогам растут и прохожие не рвут их?

Мальчик в штанах. Здесь, под Бромбергом, этого нет, но матушка моя, которая родом из-под Вюрцбурга, сказывала, что в тамошней стороне все дороги обсажены плодовыми деревьями. И когда наш старый добрый император получил эти земли в награду за свою мудрость и храбрость, то его немецкое сердце очень радовалось, что отныне баденские, баварские и другие каштаны будут съедаемы его дорогой и лояльной Пруссией.

Мальчик без штанов. Да неужто деревья по дороге растут и так-таки никто даже яблочка не сорвет?

Мальчик в штанах (изумленно). Но кто же имеет право сорвать вещь, которая не принадлежит ему в собственность?!

Мальчик без штанов. Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали! У нас, намеднись, дядя Софрон мимо кружки с керосином шел – и тот весь выпил!

Мальчик в штанах. Но, конечно, он это по ошибке сделал?

Мальчик без штанов. Опохмелиться захотелось, а грошика не было – вот он и опохмелился керосином!

Мальчик в штанах. Но ведь он, наверное, болен сделался?

Мальчик без штанов. Разумеется, будешь болен, как на другой день при сходе спину взбондируют!

Мальчик в штанах (пугаясь). Ах, неужели у вас…

Мальчик без штанов. А ты думал, гладят?

Мальчик в штанах (окончательно пугается и хочет бежать домой, но мальчик без штанов удерживает его).

Мальчик без штанов. Стой! чего испугался! Это нам, которые из простого звания, под рубашку смотрят, а ведь ты… иностранец?! (Помолчав.) У тебя звание-то есть ли?

Мальчик в штанах. Я – бауер.

Мальчик без штанов. Это мужик, что ли?

Мальчик в штанах. Не мужик, но земледелец!

Мальчик без штанов. Ну да, известно… мужик!

Мальчик в штанах. Нет, земледелец. Мужик – это русский, а у нас – земледелец.

Мальчик без штанов. На-тко, выкуси!

Мальчик в штанах. Ах, русский мальчик, какие вы странные слова употребляете и как, должно быть, недостаточно воспитание, которое вам дают! Я уверен, например, что вы не знаете, что такое бог?

Мальчик без штанов. А бог его знает, что такое бог! У нас, брат, в селе Успленью-матушке престольный праздник показан – вот мы в спожинки его и справляем!

Мальчик в штанах (хочет понять и не может).

Мальчик без штанов. Не дошел? Ну, нечего толковать: я и сам, признаться, в этом не тверд. Знаю, что праздник у нас на селе, потому что и нам, мальчишкам,

в этот день портки надевают, а от бога или от начальства эти праздники приказаны – не любопытствовал. А ты мне вот еще что скажи: слыхал я, что начальство здешнее вас, мужиков, никогда скверными словами не ругает – неужто это правда?

Мальчик в штанах. Отец мой сказывал, что он от своего дедушки слышал, будто в его время здешнее начальство ужасно скверно ругалось. И все тогдашние немцы до того от этого загрубели, что и между собой стали скверными словами ругаться. Но это было уж так давно, что и старики теперь ничего подобного не запомнят.

Мальчик без штанов. А нас, брат, так и сейчас походя ругают. Кому не лень, только тот не ругает, и всё самыми скверными словами. Даже нам надоело слушать. Исправник ругается, становой ругается, посредник ругается, старшина ругается, староста ругается, а нынче еще урядников ругаться наняли

.

Мальчик в штанах (испуганно). Но, может быть, это дурная болезнь какая-нибудь?

Мальчик без штанов. То-то что ты не дошел! Правило такое, а ты – болезнь! Намеднись приехал в нашу деревню старшина, увидел дядю Онисима, да как вцепится ему в бороду – так и повис!

Мальчик в штанах. Ах, боже мой!

Мальчик без штанов. Говорю тебе, надоело и нам. С души прет, когда-нибудь перестать надо. Только как с этим быть? Коли ему сдачи дать, так тебя же засудят, а ему, ругателю, ничего. Вот один парень у нас и выдумал: в вечерни его отпороли, а он в ночь – удавился!

Мальчик в штанах. Ах, как мне вас жаль! как мне вас жаль!

Мальчик без штанов. Чего нас жалеть! Сами себя не жалеем – стало быть, так нам и надо!

Мальчик в штанах (с участием). Не говорите этого, друг мой! Иногда мы и очень хорошо понимаем, что с нами поступают низко и бесчеловечно, но бываем вынуждены безмолвно склонять голову под ударами судьбы. Наш школьный учитель говорит, что это – наследие прошлого. По моему мнению, тут один выход: чтоб начальники сами сделались настолько развитыми, чтоб устыдиться и сказать друг другу: отныне пусть постигнет кара закона того из нас, кто опозорит себя употреблением скверных слов! И тогда, конечно, будет лучше.

Мальчик без штанов. Держи карман! Это, брат, у нас «революцией сверху» называется!

Мальчик в штанах. А мы, немцы, называем это просто справедливостью. Но откуда вы такое выражение знаете?

Мальчик без штанов. А это у нас бывший наш барин так говорит. Как ежели кого на сходе сечь приговорят, сейчас он выйдет на балкон, прислушивается и приговаривает: вот она, «революция сверху», в ход пошла!

Мальчик в штанах. Ах, нет, я совсем не в том смысле…

Мальчик без штанов. А он у нас во всех смыслах… Выкупные он давно проел, доходов с земли – грош; вот он похаживает у себя по хоромам, да и шутит… во всех смыслах!

Мальчик в штанах. Но каким же образом он живет без доходов? Работает?

Мальчик без штанов. У нас дворянам работать не полагается. У нас, коли ты дворянин, так живи, не тужи. Хошь на солнышке грейся, хошь по ляжке себя хлопай – живи. А чуть к работе пристроился, значит, пустое дело затеял! Превратное, значит, толкование.

Мальчик в штанах. Какой, однако ж, странный народ у вас живет! Находят, что полезнее по ляжке себя хлопать, нежели работать… изумительно!

Мальчик без штанов. Да, брат немец! про тебя говорят, будто ты обезьяну выдумал, а коли поглядеть да посмотреть, так куда мы против вас на выдумки тороваты!

Мальчик в штанах. Ну, это еще…

Мальчик без штанов. Верно говорю, я даже пример сейчас приведу. Слыхал я, правда ли, нет ли, что ты такую сигнацию выдумал, что куда хошь ее неси – сейчас тебе за нее настоящие деньги дадут… так, что ли?

Мальчик в штанах. Конечно, дадут настоящие золотые или серебряные деньги – как же иначе!

Мальчик без штанов. А я такую сигнацию выдумал: предъявителю выдается из разменной кассы… плюха!

Вот ты меня и понимай!

Мальчик в штанах (хочет понять, но не может).

Мальчик без штанов. И не старайся, не поймешь!

(Оба мальчика задумываются и некоторое время стоят молча.)

Мальчик в штанах. Знаете ли, русский мальчик, что я думаю? Остались бы вы у нас совсем! Господин Гехт охотно бы вас в кнехты принял. Вы подумайте только: вы как у себя спите? что кушаете? А тут вам сейчас войлок хороший для спанья дадут, а пища – даже в будни горох с свиным салом!

Мальчик без штанов. Пища хорошая… А правда ли, немец, что ты за грош черту душу продал?

Мальчик в штанах. Вы, вероятно, про господина Гехта говорите?.. Так ведь родители мои получают от него определенное жалованье…

Мальчик без штанов. Ну да, это самое я и говорю: за грош черту душу продал!

Мальчик в штанах. Позвольте, однако ж! Про вас хуже говорят: будто вы совсем задаром душу отдали?

Мальчик без штанов. Ты про Колупаева, что ли, говоришь? Ну, это, брат… об этом мы еще поговорим… Надоел он нам, го-спо-дин Ко-лу-па-ев!

Мальчик в штанах (резонно). Надоел или не надоел – это ваше дело; но заметьте, что всегда так бывает, когда в взаимных отношениях людей не существует самой строгой определенности. Между родителями моими и г. Гехтом никогда не случалось недоразумений – а почему? Потому что в контракте, ими заключенном, сказано ясно: господин Гехт дает грош, а родители мои – душу. Вот и все. Тогда как вы, русские, всё на какую-то «на водку» надеетесь. И потом, когда вместо «на водки» вас награждают ударами, вы ворчите, что вам… надоело! Сквернословие – надоело, господин Колупаев – надоел… Ну, надоело – что же из этого?

Мальчик без штанов. Погоди, немец, будет и на нашей улице праздник!

Мальчик в штанах. Никогда у вас ни улицы, ни праздника не будет. Убеждаю вас, останьтесь у нас! Право, через месяц вы сами будете удивляться, как вы могли так жить, как до сих пор жили!

Мальчик без штанов (с некоторым раздражением). Врешь ты! Ишь ведь с гороховицей на свином сале подъехал… диковинка! У нас, брат, шаром покати, да зато занятно… Верное слово тебе говорю!

Мальчик в штанах. Что же тут занятного… «шаром покати»!

Мальчик без штанов. Это-то и занятно. Ты ждешь, что хлеб будет – ан вместо того лебеда. Сегодня лебеда, завтра лебеда, а послезавтра – саранча, а потом – выкупные подавай!

Сказывай, немец, как бы ты тут выпутался?

Мальчик в штанах (хочет что-нибудь выдумать, но долгое время не может; наконец выдумывает). Я полагаю, что вам без немцев не обойтись!

Мальчик без штанов. На-тко, выкуси!

Мальчик в штанах. Опять это слово! Русский мальчик! я подаю вам благой совет, а вы затвердили какую-то глупость и думаете, что это ответ. Поймите меня. Мы, немцы, имеем старинную культуру, у нас есть солидная наука, блестящая литература, свободные учреждения, а вы делаете вид, как будто все это вам не в диковину.[9 - Прошу читателя помнить, что все это происходит в сновидении, и не удивляться, что немецкий мальчик выражается не вполне свойственным его возрасту языком. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)] У вас ничего подобного нет, даже хлеба у вас нет, – а когда я, от имени немцев, предлагаю вам свои услуги, вы отвечаете мне: выкуси! Берегитесь, русский мальчик! это с вашей стороны высокоумие, которое положительно ничем не оправдывается!

Мальчик без штанов. Нет, это не от высокоумия, а надоели вы нам, немцы, – вот что! Взяли в полон да и держите!

Мальчик в штанах. Но плен, в котором держит вас господин Колупаев, по мнению моему, гораздо…

Мальчик без штанов. Что Колупаев! С Колупаевым мы сочтемся… это верно! Давай-ка лучше об немцах говорить. Правду ты сказал: есть у вас и культура, и наука, и искусство, и свободные учреждения,[10 - Со стороны русского мальчика этот способ выражаться еще неестественнее, но, опять повторяю, в сновидении нет ничего невозможного. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)] да вот что худо: к нам-то вы приходите совсем не с этим, а только чтоб пакостничать. Кто самый бессердечный притеснитель русского рабочего человека? – немец! кто самый безжалостный педагог? – немец! кто самый тупой администратор? – немец! кто вдохновляет произвол, кто служит для него самым неумолимым и всегда готовым орудием? – немец! И заметь, что сравнительно ваша наука все-таки второго сорта, ваше искусство – тоже, а ваши учреждения – и подавно. Только зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, не только у нас, но именно везде. Вы подъезжаете с наукой, а всякому думается, что вы затем пришли, чтоб науку прекратить; вы указываете на ваши свободные учреждения, а всякий убежден, что при одном вашем появлении должна умереть всякая мысль о свободе. Все вас боятся, никто от вас ничего не ждет, кроме подвоха. Вон вы, сказывают, Берлин на славу отстроили, а никому на него глядеть не хочется. Даже свои «объединенные» немцы – и тех тошнит от вас, «объединителей». Есть же какая-нибудь этому причина!

Мальчик в штанах. Разумеется, от необразованности. Необразованный человек – все равно что низший организм, так чего же ждать от низших организмов!

Мальчик без штанов. Вот видишь, колбаса! тебя еще от земли не видать, а как уж ты поговариваешь!

Мальчик в штанах. «Колбаса»! «выкуси»! – какие несносные выражения! А вы, русские, еще хвалитесь богатством вашего языка! Целый час я говорю с вами, русский мальчик, и ничего не слышу, кроме загадочных слов, которых ни на один язык нельзя перевести. Между тем дело совершенно ясное. Вот уже двадцать лет, как вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, а некоторые из вас даже и о каком-то «новом слове» поговаривают – и что же оказывается – что вы беднее, нежели когда-нибудь, что сквернословие более, нежели когда-либо, регулирует ваши отношения к правящим классам, что Колупаевы держат в плену ваши души, что никто не доверяет вашей солидности, никто не рассчитывает ни на вашу дружбу, ни на вашу неприязнь… ах!

Мальчик без штанов. Ахай, немец! а я тебе говорю, что это-то именно и есть… занятное!

Мальчик в штанах. Решительно ничего не понимаю!

Мальчик без штанов. Где тебе понять! Сказывал уж я тебе, что ты за грош черту душу продал, – вот он теперь тебе и застит свет!

Мальчик в штанах. «Сказывал»! Но ведь и я вам говорил, что вы тому же черту задаром душу отдали… кажется, что и эта афера не особенно лестная…

Мальчик без штанов. Так то задаром, а не за грош. Задаром-то я отдал – стало быть, и опять могу назад взять… Ах, колбаса, колбаса!

Но тут разговор внезапно порвался, потому что я проснулся. Кто-то в нашем отделении вскочил с своего ложа и благим матом кричал: караул! грабят! Это вопиял Удав, которому приснилось, что произошла третья дележка и что его и при этой дележке… опять позабыли!

Через час мы уже подъезжали к Берлину.

II

Переехавши границу, русский культурный человек становится необыкновенно деятельным. Всю жизнь он слыл фатюем, фетишом, фалалеем; теперь он во что бы то ни стало хочет доказать, что по природе он совсем не фатюй, и ежели являлся таковым в своем отечестве, то или потому только, что его «заела среда», или потому, что это было согласно с видами начальства. Он рано встает утром, не спит после обеда, не сидит по целым часам в ватерклозете, и с Бедекером в руках с утра до вечера нюхает, смотрит, слушает, глотает. С лихорадочною страстностью переезжает он с места на место, всходит на горы и сходит с оных, бродит по деревням, удивляется свежести горного воздуха и дешевизне табльдотов, не морщась пьет местное вино, вступает в собеседования с кельнерами и хаускнехтами и наконец, с наступлением ночи, падает в постель (снабженную, впрочем, дерюгой вместо белья и какими-то кисельными комками вместо подушек), измученный беготней и массой полученных впечатлений. Сегодня он едет во Франкфурт и восклицает: вот место рождения Гете! а завтра, в Страсбурге, возвещает: вот, брат, так колокольня! Сегодня, в Интерлакене, не сводит глаз с Юнгфрау, а завтра любуется люцернским раненым львом с надписью: Helvetiorum virtuti ac fidei,[11 - Доблести и верности швейцарцев] каковую надпись, в шутливом русском тоне, переводит: «Любезно-верным швейцарцам, спасавшим в 1790 году, за поденную плату, французское престол-отечество»

. Не успев познать самого себя – так как насчет этого в России строго, – он очень доволен, что никто ему не препятствует познавать других. Поэтому нет ничего мудреного, что, возвратясь из дневной экскурсии по окрестностям, он говорит самому себе: вот я и по деревням шлялся, и с мужичками разговаривал, и пиво в кабачке с ними пил – и ничего, сошло-таки с рук! а попробуй-ка я таким образом у нас в деревне, без предписания начальства, явиться – сейчас руки к лопаткам и марш к становому… ах, подлость какая! Словом сказать, с точки зрения подвижности, любознательности и предприимчивости, русский культурный человек за границей является совершенной противоположностью тому, чем он был в своем отечестве.

Но здесь я опять должен оговориться (пусть не посетует на меня читатель за частые оговорки), что под русскими культурными людьми я не разумею ни русских дамочек, которые устремляются за границу, потому что там каждый кельнер имеет вид наполеоновского камер-юнкера, ни русских бонапартистов, которые, вернувшись в отечество, с умилением рассказывают, в какой поразительной опрятности парижские кокотки содержат свои приманки. Равным образом я не стану говорить ни о действующих сановниках, которые, на казенный счет, ставят в тупик Вефура, Бребана и Маньи[12 - Содержатели известных в Париже ресторанов. Впрочем, заранее извиняюсь: быть может, есть имена и более известные. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)] несбыточностью своих кулинарных мечтаний, ни о сановниках опальных, которые поверяют Юнгфрау свои любезно-верные вздохи и пробуждают жалость в сердцах людей кадетской мудростью своих административно-полицейских выдумок. Я говорю о среднем культурном русском человеке, о литераторе, адвокате, чиновнике, художнике, купце, то есть о людях, которых прямо или косвенно уже коснулся луч мысли, которые до известной степени свыклись с идеей о труде и которые три четверти года живут под напоминанием о местах не столь отдаленных. Понятно, что они рады-радехоньки хоть два-три месяца прожить вне этого напоминания.

Я искренно убежден, что именно только это последнее обстоятельство может побуждать этих людей такими массами устремляться в "чужое место", и именно там, а не на берегах Ветлуги или Чусовой искать отдыха от треволнений трудовой жизни. Ужасно приятно прожить хоть несколько времени, не боясь. Необходимость "ходить в струне", памятовать, что "выше лба уши не растут" и что с "суконным рылом" нельзя соваться в "калашный ряд", – это такая жестокая необходимость, что только любовь к родине, доходящая до ностальгии, может примириться с подобным бесчеловечием. Кажется, что может быть проще мысли, что жить в среде людей довольных и небоящихся гораздо удобнее, нежели быть окруженным толпою ропщущих и трепещущих несчастливцев, – однако ж с каким упорством торжествующая практика держится совершенно противоположных воззрений! И сколько еще встречается на свете людей, которые вполне искренно убеждены, что с жиру человек может только беситься и что поэтому самая мудрая внутренняя политика заключается в том, чтоб держать людской род в состоянии более или менее пришибленном! Что же удивительного, что на такие воззрения и жизнь дает вполне соответствующий ответ. С одной стороны, она производит людей-мучеников

, которых повсюду преследует представление о родине, но которые все-таки по совести не могут отрицать, что на родине их ожидает разговор с становым приставом; с другой – людей-мудрецов, которые раз навсегда порешили: пускай родина процветает особо, а я буду процветать тоже особо, ибо лучше два-три месяца подышать полною грудью, нежели просидеть их в «холодной»…

Решительно невозможно понять, почему появление русского культурного человека в русской деревне (если бы даже этот человек и не был местным обывателем) считается у нас чем-то необыкновенным, за что надо вывертывать руки к лопаткам и вести к становому. Почему желание знать, как живет русский деревенский человек, называется предосудительным, а желание поделиться с ним некоторыми небесполезными сведениями, которые повысили бы его умственный и нравственный уровень, – превратным толкованием? Ведь надо же, наконец, чтоб мужик когда-нибудь что-нибудь знал, надо же, чтоб он сознал себя и свое положение и когда-нибудь пожелал для себя лучшего удела, нежели тот, на который он осужден в данную минуту. Говорю: "надо" совсем не в смысле ублаготворения мужицкой прихотливости, а просто потому, что без этого знания, без этого стремления к лучшему не может преуспевать страна. Уничтожьте идеалы (хотя бы и мужицкие), заставьте замереть желание лучшего, и вы увидите, как быстро загрубеет окружающая среда. А между тем благосостояние этой среды необходимо и для вас лично, потому что им, и только им одним, обусловливается ваше собственное благосостояние.

Мне скажут, может быть, что во всех этих собеседованиях с "мужичком" и хождениях около него кроется достаточная доля опасности, так как они могут служить удобным орудием для известного рода происков, которые во всех новейших хрестоматиях известны под именем неблагонамеренных. Допустим, пожалуй, что подобные случаи не невозможны, но ведь дело не в том, возможна ли та или другая случайность, а в том, нужно ли эту случайность обобщать? нужно ли крутить руки к лопаткам всякому проходящему? нужно ли заставлять его беседовать с незнакомцем, хотя бы он назывался становым приставом? Ведь не делают же этого под Висбаденом, под Вюрцбургом или под Фонтенбло. Везде – сначала ожидают поступков, и ежели поступков нет, то оставляют человека в покое, а ежели есть поступки, то поступают согласно с обстоятельствами. Но даже и в последнем случае не сажают с закрученными руками в "холодную", а спокойно исследуют. Помилуйте! что это за манера такая – не говоря худого слова, крути руки к лопаткам! ведь это наконец подло! Неужто нельзя обойтись без тумаков, особливо если еще неизвестно, с чем имеешь дело, с превратным или с полезным толкованием?

Я знаю очень много полезных и даже приятного образа мыслей людей, которые прямо говорят: зачем я в деревню поеду – там мне, наверное, руки к лопаткам закрутят! В городе я гораздо меньше рискую. Я пишу, вчиняю иски, апеллирую, торгую, играю в карты – все это внешним образом берет мое время и вместе с тем дает мне возможность прятать мысль и избегать возмездий. Если в городе меня спросят, какого я образа мыслей насчет Успленья-матушки, я могу ответить: пасс! восемь в червях, шлем без козырей! – и всякий похвалит мою скромность. Напротив того, в деревне я непременно должен вести партикулярный разговор об Успленье-матушке и непременно иметь собеседником мужика. Не говоря уже о том, что иначе я пропаду со скуки, одичаю, но, сверх того, я положительно не понимаю, почему я обязан воздерживаться от собеседований с мужиком? Почему я, видя человека беспомощным, не имею права подать ему руку помощи? почему, имея возможность сообщить человеку полезный совет, обязываюсь вместо того осквернять его мозги благонамеренными благоглупостями? Ведь наконец в самой природе человеческой есть стремление симпатизировать своему ближнему и желать поднять его духовный уровень до своего духовного уровня! Почему я должен отказать себе в удовлетворении этого естественного требования? Почему, в случае неотказа, я обязан иметь по сему предмету объяснение с становым приставом? С человеком, которого супруге я не имел чести быть представленным? Лучше я совсем не поеду в деревню; пускай она процветает… без меня!

Жалуются, что русская деревня страдает от культурного абсентеизма, но разве может быть иначе? Возьмите самые простые сельскохозяйственные задачи, предстоящие культурному человеку, решившемуся посвятить себя деревне, каковы, например: способы пользоваться землею, расчеты с рабочими, степень личного участия в прибылях, привлечение к этим прибылям батрака и т. п. – разве все это не находится в самой несносной зависимости от каких-то волшебных веяний, сущность которых даже не для всякого понятна? А между тем эти веяния пристигают человека и в самом процессе его деятельности, и во всех последствиях этого процесса. Везде подозрение, везде донос, везде на страже стоит тысячеокий Колупаев, которому, конечно, невыгодно, чтоб "обеспеченный наделом" человек выскользнул из его загребистых рук. Нужно ли, чтобы Колупаев бессрочно оставался владыкою дум "обеспеченных"? Ежели нужно, то не сетуйте на абсентеизм, и пускай страна грубеет, а абориген ее пусть дичает. Если же это нежелательно, то пускай деревня освежится приливом новых, разумных сил, и пускай эти силы не встречаются с первых же шагов с выворачиванием рук и сажанием в "холодную".

Я не говорю, чтоб отношения русского культурного человека к мужику, в том виде, в каком они выработались после крестьянской реформы, представляли нечто идеальное, равно как не утверждаю и того, чтоб благодеяния, развиваемые русской культурой, были особенно ценны; но я не могу согласиться с одним: что приурочиваемое каким-то образом к обычаям культурного человека свойство пользоваться трудом мужика, не пытаясь обсчитать его, должно предполагаться равносильным ниспровержению основ. А у нас, к несчастию, именно этот взгляд и пользуется авторитетом, так что всякий протест против обсчитывания прямо приравнивается к социализму. И, что всего удивительнее, благодаря Колупаевым и споспешествующим им quibus auxiliis,[13 - покровителям] сам мужик почти убежден, что только вредный и преисполненный превратных толкований человек может не обсчитать его. Поистине, это ужаснейшая из всех пропаганд. Мало того, что она держит народ в невежестве и убивает в нем чувство самой простой справедливости к самому себе (до этого, по-видимому, никому нет дела), – она чревата последствиями иного, еще более опасного, с точки зрения предупреждения и пресечения, свойства. Ибо ежели в настоящую минуту еще можно сказать, что культурный человек является абсентеистом отчасти по собственной вине (недостаток мужества, терпения, знаний, привычка к роскоши и т. д.), то, быть может, недалеко время, когда он явится абсентеистом поневоле. И тогда… что станется с нашими исконными «опорами»?

Тем не менее я не могу не признать, что со стороны Колупаевых и их попустителей описанный сейчас образ действий не представляет ничего непонятного. Эти люди настолько угорели под игом стяжания и до того лишены дара провидения, что никакие перспективы будущего не могут волновать их. Но совершенно непонятно, почти страшно, что поощрения в подобном смысле от времени до времени раздаются и в литературе. Признаюсь, я никогда не мог читать без глубокого волнения газетных известий о том, что в такую-то, дескать, деревню явились неизвестные люди и начали с мужичками беседовать, но мужички, не теряя золотого времени, прикрутили им к лопаткам руки и отправили к становому приставу. В особенности омерзительною казалась мне радостная редакция этих статеек. Зачем приходили неизвестные люди, о чем они разговаривали – ничего не видно; достоверно только, что им закрутили руки, чтоб не терять золотого времени. Чему же тут, однако, радоваться? Ведь, может быть, эти "неизвестные" отыскали способ бороться с саранчой или с колорадским жучком и приходили в деревню затем, чтоб поделиться своим открытием с ее обитателями? Или, быть может, они желали указать на какую-нибудь новую отрасль промышленности, которая могла бы с успехом привиться в этой местности? Или, наконец, просто хотели объяснить мужичкам, что такое

бог? Неужто же это не полезно? А между тем этим полезным "неизвестным людям", не теряя золотого времени, скрутили назад руки…

Прошу читателя извинить меня, что я так часто повторяю фразу о вывернутых назад руках. По-видимому, это самая употребительная и самая совершенная из всех форм исследования, допускаемых обитателями российских палестин в наше просвещенное время. И я убежден, что всякий добросовестный урядник совершенно серьезно подтвердит, что если б этого метода исследования не существовало, то он был бы в высшей степени затруднен в отправлении своих обязанностей.

За всем тем, отнюдь не желая защищать превратные толкования, я все-таки думаю, что первая и наиболее обязательная добродетель для тех, которые, подобно урядникам, дают тон внутренней политике, есть терпение. Система быстрого и немедленного заезжания пользуется у нас уж чересчур большим доверием, и, право, она этого доверия не заслуживает. В сущности, это система дурная, и наименее опасный из результатов, к которым она приводит, это отсутствие всяких результатов в смысле предупреждения и пресечения

. Если бы дело ограничивалось только этим, то бог бы с нею: пускай утешает бойцов; но есть и существенная опасность, которая ей присуща и которая заключается в том, что «заезжание» может надоесть. Конечно, «мальчик в штанах» был отчасти прав, говоря: «вам, русским, все надоело: и сквернословие, и Колупаев, и тумаки, да ведь до этого никому дела нет?», но сдается мне, что и «мальчик без штанов» не был далек от истины, настойчиво повторяя: надоело, надоело, надоело…

* * *

За одним из бесчисленных табльдотов Германии мне случилось однажды обедать в большой компании русских. Я сидел с краю компании, а рядом со мною помещался неизвестный юноша, до такой степени беловолосый, что я заподозрел: непременно это должен быть «скиталец» из Котельнического уездного училища, который каким-то чудом попал в Германию. Разумеется, это было с моей стороны только беллетристическое предположение, которое тотчас же и рассеялось, потому что юноша говорил на чистейшем немецком диалекте и, очевидно, принадлежал к коренной немецкой семье, которая с нами же и

обедала. Но тут-то именно и случалось действительное чудо. Между тем как в среде русских шла оживленная беседа на тему, для чего собственно нужен Берлин (многие предлагали такое решение: для человекоубивства), мне привелось передать моему беловолосому соседу какое-то кушанье. И вдруг, в ответ на мою любезность, я услышал от него по-русски:

– Блягодару вас!

Это было до того неожиданно, что я чуть не в ужасе воскликнул:

– Однако, брат, ты… угораздило-таки вас, mein Herr!

На что юноша, нимало не смущаясь, скромно ответил:

– Я сольдат; мы уф Берлин немного учим по-русску… на всяк слючай!

Так вот оно как. Мы, русские, с самого Петра I усердно "учим по-немецку" и все никакого случая поймать не можем, а в Берлине уж и теперь "случай" предвидят, и, конечно, не для того, чтоб читать порнографическую литературу г. Цитовича, учат солдат "по-русску". Разумеется, я не преминул сообщить об этом моим товарищам по скитаниям, которые нашли, что факт этот служит новым подтверждением только что формулированного решения: да, Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубивства.

Берлин, как столица Прусского королевства, был для всех понятен. Он скромно стоял во главе скромного государства и, находясь почти в центре его, был очень удобен в качестве административного распорядителя. Несколько скучный, как бы страдающий головной болью, он привлекал очень немного иностранцев, и ежели тем не менее из всех сил бился походить на прочие столицы, с точки зрения монументов и дворцов, то делал это pro domo,[14 - для себя] чтоб верные подданные прусской короны имели повод гордиться, что и их короли не отказывают себе в монументах. Милитаристские поползновения существовали в Берлине и тогда, но они казались столь безобидными, что никому не внушали ни подозрений, ни опасений, хотя под сению этой безобидности выросли Бисмарки и Мольтке. Неоднократно Прусское королевство находилось под угрозой распадения, но всякий раз на помощь ему являлась дружественная рука, которая на бессрочное время обеспечивала за ним возможность делать разводы, парады и маневры. По временам в Европе ходили смутные слухи о том, что

Берлин сбирается снабдить Пруссию свободными учреждениями, и слухи эти вливали тревогу в сердца соседей. Но проходили годы, учреждений не появлялось, слухи затихали, и сердца соседей вновь загорались доверием. В 1848 году Берлин даже бунтовал, но непродолжительно и скучно

. Были, однако ж, в старом Берлине и положительно-симпатичные стороны. Во-первых, он с незапамятных времен воздерживался от ежовых рукавиц и митирогнозии, что заставляло соседей говорить: да и куда ж им, колбасникам! Во-вторых, сознавая себя не безусловно немецким городом, он из всех сил старался быть немецким. Это вынуждало его состязаться с другими центрами немецкой культуры, приглашать в свой университет лучших профессоров, покровительствовать литературе, искусствам и наукам. Все это, разумеется, делалось довольно экономно (и не без примеси коварства), но, право, даже экономно-коварное покровительство наукам все-таки лучше, нежели натиск и быстрота. Но лучшее право старого Берлина на общие симпатии, во всяком случае, заключалось в том, что никто его не боялся, никто не завидовал и ни в чем не подозревал, так что даже Москва-река ничего не имела против существования речки Шпрее.

В настоящее время от всех этих симпатичных качеств осталось за Берлином одно, наименее симпатичное: головная боль, которая и доныне свинцовой тучей продолжает царить над городом. Все прочее радикально изменилось. Застенчивость заменилась самомнением, политическая уклончивость – ничем не оправдываемой претензией на вселенское господство, скромность – неудачным стремлением подкупить иностранцев мещанскою роскошью новых кварталов и каким-то второразрядным развратом, безобразный цинизм которого тщетно усиливается затмить красивый и щеголеватый парижский цинизм. Уже подъезжая к Берлину, иностранец чувствует, что на него пахнуло скукой, офицерским самодовольством и коллекцией неопрятных подолов из Орфеума. И так как ни то, ни другое, ни третье не заключает в себе ничего привлекательного, то путник спешит в первую попавшуюся гостиницу, чтоб почиститься и выспаться, и затем нимало не медля едет дальше.

Трудно представить себе что-нибудь более унылое, нежели улицы Берлина. Недостатка в движении, конечно, нет (да и не может не быть движения в городе с почти миллионным населением), но это какое-то озабоченное, почти вымученное движение, как будто всем этим двигающимся взад и вперед людям до смерти хочется куда-то убежать. Каждому удаляющемуся экипажу так и хочется крикнуть вслед: счастливец! ты, конечно, оставляешь Берлин навсегда!

Ни гула, напоминающего пчелиный улей (такой гул слышится иногда в курортах и всегда – в Париже), ни этой живой связи между улицей и окаймляющими ее домами, которая заставляет считать первую как бы продолжением последних, – ничего подобного нет. Одно беспрерывное и молчаливое маятное движение – и ничего больше.

Нечто подобное можно наблюдать, часов около пяти перед обедом, в Петербурге на Невском, когда чиновники и адвокаты, вырвавшись с каторги, спешат голодные домой. Они не заглядываются по сторонам, потому что не на что смотреть, никуда не заходят, потому незачем заходить. Не до гляденья тут, а как бы подобру-поздорову домой добежать, да чтоб по дороге в участок не свели. Конечно, кроме чиновников и адвокатов, встречаются в это время на Невском еще железнодорожники и кокотки

, но и они, по совести, едва ли ответят на вопрос, зачем они суетятся и движутся. Вот этот железнодорожный хлыщ, который во всю прыть мчится на рысаке, – почему он так озабоченно смотрит? об чем думает? Увы! он самую простую думу думает, а именно: как бы ему так обожраться, чтоб штаны по целому месту лопнули (этого результата он почему-то не мог до сих пор добиться), или как бы ему «шельму Альфонсинку» так изуродовать, чтобы она после этого целый месяц сесть не могла. Для чего ему это понадобилось, – он и сам не ведает. Ему просто адски скучно, несмотря на то, что, с точки зрения жранья и Альфонсинок, ему не житье, а рай. Да и эта самая Альфонсинка, которую он собрался «изуродовать» и которая теперь, развалившись в коляске, летит по Невскому, – и она совсем не об том думает, как она будет через час nocer[15 - кутить] у Бореля, а об том, сколько еще нужно времени, чтоб «отработаться» и потом удрать в Париж, где она начнет nocer уж взаправду, как истинно доброй и бравой кокотке надлежит…

Ту же щемящую скуку, то же отсутствие непоказной жизни вы встречаете и на улицах Берлина. Я согласен, что в Берлине никому не придет в голову, что его "занапрасно" сведут в участок или обругают, но, по мнению моему, это придает уличной озабоченности еще более удручающий характер. Кажется, что весь этот люд высыпал на улицу затем, чтоб купить на грош колбасы; купил, и бежит поскорей домой, как бы знакомые не увидели и не выпросили.

В соответствие с улицами, и магазины берлинские смотрят уныло, хотя есть между ними достаточное число обширных и заваленных товаром. Это скорее

кладовые, нежели магазины. Может быть, в них и спрятано где-нибудь что-нибудь подходящее, да заглядывать-то туда не хочется, потому что, покуда отыскиваешь это подходящее (а спросите-ка "дамочку", знает ли она даже, что для нее "подходящее"?), непременно сто раз час своего рождения проклянешь. Представьте себе, что вы хотите знать, каким образом и почему петербургские обер-полицаймейстеры начали именоваться градоначальниками, а вам на это говорят, что для точного уразумения этого события необходимо прочитать "Историю России с древнейших времен" Соловьева. Зачем? ведь это наконец обременительно по поводу самой простой исторической справки каждый раз перечитывать "Историю" Соловьева. А в Берлине каждый магазин так, кажется, и говорит проходящему, что человек, желающий приобрести фланелевую куртку, тогда только получит искомое, ежели предварительно ознакомится с полным курсом "Истории фланелевых курток с древнейших времен". Даже русские культурные дамочки – уж на что охочи по магазинам бегать – и те чуть не со слезами на глазах жалуются: помилуйте! муж заставляет меня в Берлине платья покупать!

В Берлине можно купить одеяло, но не такое, чтоб им покрывать постель днем; можно купить резиновый мячик, но лишь для детей небогатых родителей; наконец, в Берлине можно купить колбасу, но не такую, чтоб потчевать ею людей, которым желаешь добра, а такую, чтоб съесть ее от нужды одному, при запертых дверях, съесть, и когда желудочные боли утихнут, то позабыть. И за всем тем Берлин торгует, как говорится, в развал, и в особенности шерстяным товаром. Куда расходится эта громадная масса безвкусного, а отчасти и не особенно прочного товара? Разумеется, прежде всего по своим собственным Диршау, Бромбергам, Тарантам и проч., но главное количество все-таки уходит в Россию. Пензы, Тулы, Курски – все слопают, и тульская дамочка, которая визжала при одной мысли ремонтировать свой туалет в Берлине, охотно износит самого несомненного Герсона за самого несомненного Борта, если этот Герсон будет предложен ей в магазине дамского портного Страхова… в кредит.

Но самый гнетущий элемент берлинской уличной жизни – это военный. Сравнительно с Петербургом, военный гарнизон Берлина не весьма многочислен, но тела ли прусских офицеров дюжее, груди ли у них объемистее, как бы то ни было, но делается положительно тесно, когда по улице проходит прусский офицер. Одет он каким-то чудаком, в форму, напоминающую наши военные сюртуки и фуражки сороковых годов; грудь выпячена колесом, усы закручены в колечко… Идет румяный, крупичатый, довольный, точно сейчас получил жалованье, что не мешает ему, впрочем, относиться к ближнему с строгостью и скоростью. Мне кажется, что Держиморда именно был бы таков,

если б не заел его Сквозник-Дмухановский и он сам не имел бы слабости к спиртным напиткам.

Когда я прохожу мимо берлинского офицера, меня всегда берет оторопь. Даже в Баден-Бадене, в Эмсе мне делалось жутко, когда, бывало, привезут в курзал из Раштата или из Кобленца несколько десятков офицеров, чтоб доставить удовольствие a ces dames.[16 - дамам] Не потому жутко, чтоб я боялся, что офицер кликнет городового, а потому, что он всем своим складом, посадкой, устоем, выпяченной грудью, выбритым подбородком так и тычет в меня: я – герой! Мне кажется, что если б, вместо этого, он сказал: я разбойник и сейчас начну тебя свежевать, – мне было бы легче. А то «герой» – шутка сказать! Перед героями простые люди обязываются падать ниц, обожать их, забыть об себе, чтоб исключительно любоваться и гордиться ими, – вот как я понимаю героев! Но как бы я ни был мал и ничтожен, ведь и у меня есть собственные делишки, которые требуют времени и забот. 14 вдобавок эти делишки, вместе с делишками других столь же простых людей, не бесполезны и для страны, в которой я живу. Неужели же я должен обо всем забыть, на все закрыть глаза, затем только, чтоб во всю глотку орать: ура, герой! Нет, право, самое мудрое дело было бы, если б держали героев взаперти, потому что это развязало бы простым людям руки и в то же время дало бы возможность стране пользоваться плодами этих рук. Пускай герои между собой разговаривают и друг на друга любуются; пускай читают Плутарха, припоминают анекдоты из жизни древних и новых героев, и вообще поддерживают в себе вкус к истреблению «исконного» врага (а кто же теперь не «исконный» враг в глазах прусского офицера?). Но пусть они не показываются днем на улице, пусть не напоминают мне, смирному и скромному колбаснику, что я ежемгновенно могу погибнуть как червь, если за меня не бдит недремлющее око его… героя!

Наш русский офицер никогда не производил на меня такого удручающего впечатления. Прежде всего, он в объеме тоньше, и грудей у него таких нет; во-вторых, он положительно никому не тычет в глаза: я герой! Русский человек способен быть действительным героем, но это не выпячивает ему груди и не заставляет таращить глаза. Он смотрит на геройство без панибратства и очевидно понимает, что это совсем не такая заурядная вещь, которую можно всегда носить с собою, в числе прочей амуниции. Напротив, пруссак убежден, что раз он произведен, с соизволения начальства, в герои, раз ему воздвигнут на Королевской площади памятник

, то он обязывается с честью носить это звание не только на улицах, но и в садах Орфеума. Разумеется, простых людей это стесняет.

Может быть, поэтому-то и берлинская веселость имеет какой-то неискренний, мрачный характер. Как тут искренно веселиться, когда обок с вами торчит "герой", который, того гляди, начнет повествовать об Верте или об Седане?

А между тем не веселиться – нельзя. Во-первых, современный берлинец чересчур взбаламучен рассказами о парижских веселостях, чтоб не попытаться завести и у себя что-нибудь a l'instar de Paris.[17 - по примеру Парижа] Во-вторых, ежели он не будет веселиться, то не скажет ли об нем Европа: вот он прошел с мечом и огнем половину цивилизованного мира, а остался все тем же скорбным главою берлинцем. В-третьих, не скажут ли и самые «герои»: мы завалили вас лаврами, а вы ходите как заспанные – ужели нужно и еще разорить какую-нибудь страну, чтоб разбудить вас? И вот берлинец начинает веселиться. Он заводит шарабан mit einem ganz noblen Lakai[18 - с вполне благообразным лакеем] и хвастается: wir haben unsere eigenen gamins de Paris![19 - у нас свои собственные парижские сорванцы!] А затем отправляется в Орфеум, щиплет тамошних кокоток («не знает, как блеснуть очаровательнее», как выражается у Островского Липочка Большова)

, наливается шампанским точно так же, как отец или предок его наливался пивом, и пьяный отправляется на ночлег в сопровождении двух кокоток, вместо одной. И мечется на своем ложе, видя во сне, что и завтра ему предстоит веселиться точно тем же порядком.

Я с особенной настойчивостью останавливаюсь на уличной жизни, во-первых, потому, что она всего больше доступна наблюдению, а во-вторых, потому, что в городе, имеющем претензию быть кульминационным пунктом целой империи, уличная жизнь, по мнению моему, должна преимущественно отражать на себе степень большей или меньшей эмансипации общества от уз. Основать университет и населить его знаменитейшими и наилучше оплаченными профессорами можно всюду, даже при наличности самых нестерпимейших уз, равно как всюду же можно устроить музеи, коллекции, выставки и проч. Для этого нужны только добрая воля и материальные средства. Но общительность, но мягкость форм общежития нельзя декретировать ни начальственным предписанием, ни громом и блеском побед. Там, где эти свойства отсутствуют, где чувство собственного достоинства заменяется оскорбительным и в сущности

довольно глупым самомнением, где шовинизм является обнаженным, без всякой примеси энтузиазма, где не горят сердца ни любовью, ни ненавистью, а воспламеняются только подозрительностью к соседу, где нет ни истинной приветливости, ни искренней веселости, а есть только желание похвастаться и расчет на тринкгельд,[20 - чаевые] – там, говорю я, не может быть и большого хода свободе. Я не хочу, конечно, сказать этим, чтоб университеты, музеи и тому подобные образовательные учреждения играли ничтожную роль в политической и общественной жизни страны, – напротив! но для того, чтоб влияние этих учреждений оказалось действительно плодотворным, необходимо, чтоб между ними и обществом существовала живая связь, чтоб университеты, например, были светочами и вестниками жизни, а не комментаторами официально признанных формул, которые и сами по себе настолько крепки, что, право, не нуждаются в подтверждении и провозглашении с высоты профессорских кафедр.

Но здесь я не могу воздержаться, чтоб не припомнить одного любопытного факта из моего прошлого

. Когда я был в школе, то в нашем уголовном законодательстве еще весьма часто упоминалось слово «кнут». Нужно полагать, что это было очень серьезное орудие государственной Немезиды, потому что оно отпускалось в количестве, не превышавшем 41-го удара, хотя опытный палач, как в то время удостоверяли, мог с трех ударов заколотить человека насмерть. Во всяком случае, орудие это несомненно существовало, и следовательно профессор уголовного права должен был так или иначе встретиться с ним на кафедре. И что же! выискался профессор, который не только не проглотил этого слова, не только не подавился им в виду десятков юношей, внимавших ему, не только не выразился хоть так, что как, дескать, ни печально такое орудие, но при известных формах общежития представляется затруднительным обойти его, а прямо и внятно повествовал, что кнут есть одна из форм, в которых высшая идея правды и справедливости находит себе наиболее приличное осуществление. Мало того: он утверждал, что сама злая воля преступника требует себе воздаяния в виде кнута и что, не будь этого воздаяния, она могла бы счесть себя неудовлетворенною. Но прошло немного времени, курс уголовщины не был еще закончен, как вдруг, перед самыми экзаменами, кнут отрешили и заменили трехвостою плетью с соответствующим угобжением с точки зрения числа ударов. Я помню, что нас, молодых школяров, чрезвычайно интересовало, как-то вывернется старый буквоед из этой неожиданности. Прольет ли он слезу на могиле кнута или надругается над этой могилой и воткнет в нее осиновый кол.

Оказалось, что он воткнул осиновый кол. Целую лекцию сквернословил он перед нами, как скорбела высшая идея правды и справедливости, когда она осуществлялась в форме кнута, и как ликует она теперь, когда, с соизволения вышнего начальства, ей предоставлено осуществляться в форме трехвостной плети, с соответствующим угобжением. Он говорил, и его не тошнило, а мы слушали и нас тоже не тошнило. Я не знаю, как потом справился этот профессор, когда телесные наказания были совсем устранены из уголовного кодекса, но думаю, что он и тут вышел сух из воды (быть может, ловкий старик внутренно посмеивался, что как, мол, ни вертись, а тумаки и митирогнозия все-таки остаются в прежней силе). Кто же, однако, бросит в него камень за выказанную им научную сноровистость? Разве от него требовалось, чтоб он стоял на дороге с светочем в руках? Нет, от него требовалось одно: чтоб он подыскал обстановку для истины, уже отвержденной и официально признанной таковою, и потом за эту послугу чтоб получал присвоенное по штатам содержание.

Весьма может статься, что я не прав (охотно сознаюсь в моей некомпетентности), но мне кажется, что именно для этой последней цели собраны в берлинском университете ученые знаменитости со всех концов Германии. Они устраивают обстановочки, придумывают оправдательные теории в пользу совершившихся фактов и скромно пользуются присвоенным им отличным содержанием. Но влияния на ход жизни они не имеют и никого для будущего не воспитывают. Конечно, они не будут распинаться в пользу кнута в том виде, в каком он хранился, за печатями, в губернских правлениях, но ведь бывают кнуты и иносказательные…

Я не имею никаких данных утверждать, что Берлин никогда не сделается действительным руководителем германской умственной жизни, но, судя по современному настроению умов, думаю, что в настоящее время для доброй половины Германии Берлин не только не симпатичен, но даже прямо неприятен. Он у всех что-нибудь отнял и ничем за отнятое не вознаградил. И вдобавок везде насовал берлинского солдата с соответствующим количеством берлинских же офицеров. Какое, спрашивается, имел он право смущать сон добродушных баденцев вечно присущим представлением о выпяченных грудях и вытаращенных глазах? И была ли в том надобность?

Одним словом, вопрос, для чего нужен Берлин? – оказывается вовсе нестоль праздным, как это может представиться с первого взгляда. Да и ответ на него не особенно затруднителен, так как вся суть современного Берлина, все мировое

значение его сосредоточены в настоящую минуту в здании, возвышающемся в виду Королевской площади и носящем название: Главный штаб…

Рассказывают, правда, что никогда в Берлине не были так сильны демократические аспирации, как теперь, и в доказательство указывают на некоторые парламентские выборы. Но ведь рассказывают и то, что берлинское начальство очень ловко умеет справляться с аспирациями и отнюдь не церемонится с излюбленными берлинскими людьми…

. . . . . .

Само собой разумеется, что каждый здравомыслящий берлинец по поводу сейчас изложенного может сказать мне: если тебе у нас нехорошо, то ступай домой и там наслаждайся! И я не только допускаю возможность такого возражения, но даже понимаю, что в ответ на него я могу только сконфузиться. Но, в сущности, я буду неправ, потому что дело совсем не в том, где и на сколько золотников жизнь угрюмее, а в том, где и на сколько она интереснее. Читатель! подивись! я совершенно без всякой иронии утверждаю, что нигде жизнь не представляет так много интересного, как в нашем бедном, захудалом отечестве.

Конечно, это интерес своеобразный, как говорится, на охотника, но все-таки интерес.

Бывают существования, с личной точки зрения, очень мучительные, почти невозможные, но, с точки зрения исследования и выводов, полные изумительнейших откровений. Наблюдать такие существования со стороны было бы, разумеется, удобнее, нежели знакомиться с ними при помощи собственных боков, но устроить это, без ущерба для полноты самых наблюдений, до крайности трудно. Во-первых, как бы ни было добросовестно и подробно исследование со стороны, никогда оно не заменит того интимного исследования, процесс которого оставляет неизгладимые следы на собственных боках исследователя. Во-вторых, существуют распорядки, при которых, несмотря на самые похвальные усилия остаться на почве объективности, эти усилия оказываются тщетными, и всякий наблюдатель, каковы бы ни были его намерения, силою вещей превращается в наблюдателя, собирающего нужные

факты при помощи собственных боков. Поэтому, принимая на себя роль исследователя подобных загадочных существований, необходимо сказать себе: что ж делать! если меня и ожидают впереди некоторые ушибы, то я обязываюсь оные перенести!

Сказать это тем более необходимо, что предмет предстоящих исследований вполне того заслуживает. Каким образом этот предмет мог сделаться интересным, – вопрос довольно затруднительный для решения; но ведь и это уж само по себе очень интересно, что хоть и не можешь себе объяснить, почему предмет интересен, а все-таки интересуешься им. Тут можно сказать себе только одно: чем загадочнее жизнь, тем более она дает пищи для любознательности и тем больше подстрекает к раскрытию тайн этой загадочности. С этой точки зрения, я совершенно разделяю мнение "мальчика без штанов", который на все обольщения, представляемые гороховицей с свиным салом, отвечал: нет, у нас дома занятнее. Ежели можно сказать вообще про Европу, что она, в главных чертах, повторяет зады (по крайней мере, в настоящую минуту, она воистину ничего другого не делает) и, во всяком случае, знает, что ожидает ее завтра (что было вчера, то повторится и завтра, с малым разве изменением в подробностях), то к Берлину это замечание применимо в особенности. В Берлине самые камни вопиют: завтра должно быть то же самое, что было вчера! А мы – разве мы что-нибудь знаем? Каким образом разрешится вопрос об акклиматизации саранчи? Порвется ли когда-нибудь сеть сквернословия и тумаков, осыпавшая нас от верхнего края до нижнего? Произойдет ли когда-нибудь волшебство, при помощи которого народная школа, народное здоровье, занятие сельским хозяйством, то есть именно те поприща, на которых культурный человек может принести наибольшую пользу, перестанут считаться синонимами распространения превратных идей? Кто разрешит эти вопросы? – разумеется, никто… Но разве это не занятно?

Я знаю, что жить среди этих загадочностей все равно, что быть вверженным в львиный ров…

Но зато какая радость, ежели львы не тронут или только слегка помнут ребра!

"Мальчик в штанах" во многом был прав. Гороховица с свиным салом воистину слаще, нежели мякинный хлеб, сдобренный одной водой; поля, приносящие постоянно сам-пятнадцать, воистину выгоднее, нежели поля, предоставляющие в перспективе награду на небесах; отсутствие митирогнозии лучше, нежели

присутствие ее, а обычай не рвать яблоков с деревьев, растущих при дорого, похвальнее обычая опохмеляться чужим, плохо лежащим керосином. Но он был неправ, утверждая, что все эти блага цивилизации настолько ценны, чтоб за них можно было "по контракту" закрепить душу. В этом отношении, по мнению моему, "мальчик без штанов" правее. Он соглашается, что у пруссака чище и вольготнее, но утешается тем, что у него, "мальчика без штанов", по крайней мере, никакого контракта на руках нет. Положим, что его душа, точно так же как и немцева, не принадлежит ему в собственность, но он не продал ее за грош, а отдал даром. Как хотите, а это очень и очень интересная разница!

Как бы то ни было, но первое чувство, которое должен испытать русский, попавший в Берлин, все-таки будет чувством искреннейшего огорчения, близко граничащего с досадой. Прежде всего, он увидит себя вынужденным сравнивать, и выводы, которые получаются путем этих сравнений, покажутся ему не особенно удовлетворительными. Но пусть он не останавливается перед этими первыми выводами, пусть не обольщается даже зрелищем признания прав мысли на оценку благодеяний свободы, первый акт которого несомненно начнется для него уже под Эйдткуненом. Пусть примет он на веру слова "мальчика без штанов": у нас дома занятнее, и с доверием возвратится в дом свой, чтобы занять соответствующее место в представлении той загадочной драмы, о которой нельзя даже сказать, началась она или нет.

* * *

За Берлином, по направлению к Рейну, начинается ряд лакейских городов. Это – курорты, где в общей массе наезжего люда и русские, по распоряжению медицинского начальства, посвящают себя нагуливанию животов.

Курорт – миниатюрный, живописно расположенный городок, который зимой представляет ряд наглухо заколоченных отелей и въезжих домов, а летом превращается в гудящий пчелиный улей. Официальная привлекательность курортов заключается в целебной силе их водяных источников и в обновляющих свойствах воздуха окружающих гор; неофициальная – в том непрерывающемся празднике, который неразлучен с наплывом масс досужих и обладающих хорошими денежными средствами людей.

Я не могу представить себе зимнее существование этих городков. Ведут ли населяющие их жители какую бы то ни было самостоятельную жизнь и имеют ли

свойственные всем земноводным постоянные занятия? пользуются ли благами общественности, то есть держат ли, как в прочих местах, ухо востро, являются ли по начальству в мундирах для принесения поздравлений, фигурируют ли в процессах в качестве попустителей и укрывателей и затем уже, в свободное от явок время, женятся, рождают детей и умирают, или же представляют собой изнуренный летнею беготнёю сброд, который, сосчитав барыши, погружается в спячку, с тем чтоб проснуться в начале апреля и начать приготовление к новой летней беготне? Вообразить себе обывателя курорта не суетящегося, не продающего себя со всеми потрохами столь же трудно, как и вообразить коренного русского человека, который забыл о существовании ежовых рукавиц. Поэтому я могу только догадываться, что зимою немецкий курорт превращается в сказочную долину, по которой разбросаны посещаемые привидениями дома и в которой не видно никаких признаков человеческой деятельности, кроме прилежной вывозки нечистот, оставленных щедрыми летними посетителями. Не только иностранец исчезает, но и вся разношерстная толпа лакеев, фигурировавшая летом в качестве местного колорита, – и та уплывает неизвестно куда, вместе с последним отбоем иностранной волны. Ибо и она, эта лакейская толпа, была совсем не местная, а пришлая, привлеченная сюда со всех концов Германии надеждой на иностранный тринкгельд. У нас, в России, наверное, такой город переименовали бы в заштатный, и только летом, в видах пресечения и предупреждения, переводили бы сюда становую квартиру, с правом, на случай превратных толкований, выворачивать руки к лопаткам и сажать в "холодную".

Зато с наступлением весеннего тепла курорт начинает закипать, и чем больше подвигается время в глубь лета, тем гуще и гуще раздается пчелиное гудение вокруг курзала и бесчисленных табльдотов, простирающих свои объятия наезжему люду. Курзал прибодряется и расцвечивается флагами и фонарями самых причудливых форм и сочетаний; лужайки около него украшаются вычурными цветниками, с изображением официальных гербов; армия лакеев стоит, притаив дыхание, готовая по первому знаку ринуться вперед; в кургаузе, около источников, появляются дородные вассерфрау

; всякий частный дом превращается в Privat-Hotel, напоминающий невзрачную провинциальную русскую гостиницу (к счастию, лишенную клопов), с дерюгой вместо постельного белья и с какими-то нелепыми подушками, которые расползаются при первом прикосновении головы; владельцы этих домов, зимой ютившиеся в конурах ради экономии в топливе, теперь переходят в еще более тесные конуры ради прибытка; соседние деревни, не покладывая рук, доят

коров, коз, ослиц и щупают кур; на всяком перекрестке стоят динстманы, пактрегеры

и прочий подневольный люд, пришедший с специальною целью за грош продать душу; и тут же рядом ржут лошади, ревут ослы и без оглядки бежит жид, сам еще не сознавая зачем, но чуя, что из каждого кармана пахнет талером или банковым билетом. Чувствуется, что в воздухе есть что-то ненормальное, что жизнь как будто сошла с ума, и, разумеется, по русскому обычаю, опасаешься, что вот-вот попадешь в «историю». Но чем больше живешь и вглядываешься, тем больше убеждаешься, что, несмотря на всякие ненормальности, никаких «историй» нет, что все кругом испокон веков намуштровано и теперь само собой так укладывается, чтоб никто никому не мешал. Пактрегеры не спотыкаются, не задевают друг друга, но степенно двигаются, гордые сознанием, что именно они, а не динстманы призваны заменять ломовых лошадей; динстманы не перебивают друг у друга работу, не кричат взапуски: я сбегаю! я, ваше сиятельство! меня вчера за Анюткой посылали, господин купец! но солидно стоят в ожидании, кого из них потребитель облюбует, кому скажет: лоб!

У нас (в Москве, например) при таких обстоятельствах, по малой мере, потребителю фалды бы оборвали, и последствием этого было бы путешествие в кутузку, а здесь и кутузки нет, и фалды целы. Но ведь с другой стороны, если б мы вздумали подражать немецким образцам, то есть начали бы солидничать и в молчании ждать своей участи, то не вышло бы из этого другой, еще горшей беды? Молчишь – значит, есть что-нибудь на уме… А что не может быть на уме у динстмана, кроме превратных толкований? Ну и опять – марш в кутузку!

Благо странам, которые, в виде сдерживающего начала, имеют в своем распоряжении кутузку, но еще более благо тем, которые, отбыв время кутузки, и ныне носят ее в сердцах благодарных детей своих. Достоин похвалы тот, который, видя кутузку очами телесными, согласно с сим регулирует свое поведение; во стократ блаженнее тот, который, видя кутузку лишь очами духовными, продолжает веровать в незыблемость ее руководящих свойств. Русская лошадь знает кнут и потому боится его (иногда даже до того уже знает, что и бояться перестает: бей, несытая душа, коли любо!); немецкая лошадь почти совсем не знает кнута, но она знает "историю" кнута, и потому при первом щелканье бича бежит вперед, не выжидая более действительных понуждений. Так точно и во всем. Тем не менее надобно, к чести людей, сознаться, что кнут

все-таки есть только мера печальной необходимости, к которой редко кто прибегает, как к развлечению. Как легко жилось бы русским извозчикам, если бы русские лошади вдруг остепенились и начали возить не только за страх, но и за совесть! И как просто было б управлять людьми, если б, подобно немецким пактрегерам, все поняли, что священнейшая обязанность человеков в том заключается, чтоб, не спотыкаясь и не задевая друг друга, носить тяжести, принадлежащие "знатным иностранцам"! Но, может быть, если бы эта утопия осуществилась, то сами извозчики сбесились бы от жира и ничегонеделания? И, сбесившись, начали бы… Помилуйте! а кутузка на что?

А впрочем, довольно мечтать о том, кто более заслужил похвалы и кто менее. Пускай немецкие извозчики щелкают бичами по воздуху, а наши пускай бьют лошадей кнутами и вдоль спины, и поперек, и по брюху. Пускай немецкие динстманы носят кутузку в сердце своем, а наши, имея в оной жительство, пусть говорят: ах, чтоб ей ни дна ни покрышки! Конечно, от того или другого образа поведения зависит то или другое направление внутренней политики, но ведь за внутренней политикой не угонишься! Иной ведет себя отлично, да сосед напакостил – ан и его заодно ведут в кутузку. И потом: ах, как жаль! какое печальное недоразумение! Это кутузка-то… недоразумение!

Правда, я со всех сторон слышу, что недоразумений больше уж не будет, и вполне верю, что, в дополнение к прежним эмансипациям, возможна и эмансипация от недоразумений. Но, признаюсь, меня смущает вопрос: не будет ли слишком пресна наша жизнь без недоразумений, но с кутузкой? ведь мы привыкли! Театры у нас плохие, митингов нет, в трактирах порция бифштекса стоит рубль серебром, так, по моему мнению, лучше по недоразумению вечер в кутузке провести, нежели в Александринке глазами хлопать. Но только, ради Христа, не больше одного вечера!

Сродного сословия людей в курортах почти нет, ибо нельзя же считать таковыми ту незаметную горсть туземных и иноземных негоциантов, которые торгуют (и бог весть, одним ли тем, что у них на полках лежит?) в бараках и колоннадах вдоль променад, или тех антрепренеров лакейских послуг, которые тем только и отличаются (разумеется, я не говорю о мошне) от обыкновенных лакеев и кнехтов, что имеют право громче произносить: pst! pst! Может быть, зимой, когда сосчитаны барыши, эти последние и сознают себя добрыми буржуа, но летом они, наравне с самым последним кельнером, продают душу наезжему человеку и не имеют иного критериума для оценки вещей и людей, кроме того, сколько то или другое событие, тот или другой "гость" бросят им лишних

пфеннигов в карман.

А наезжий человек так со всех сторон и напирает. Каждый день бесчисленные железнодорожные поезды выбрасывают на улицы курорта массы "гостей", которые тут же, с вытаращенными глазами, задыхаясь и спеша, начинают отыскивать себе конуру для ночлега. Это, так сказать, предвкушение утех. Тут и человек, всю зиму экспекторировавший, в чаянье, что потом будет лакомиться ослиными сыворотками и "обменивать вещества". Тут и бесшабашный советник, который согласен какую угодно мерзость глотать, лишь бы бог веку продлил и сотворил ему мирным и непостыдным получение присвоенных по штатам окладов и аренд. Тут и юный бонапартист, которому только безмерное безрассудство до сих пор мешало обдумать, в чью пользу и за какую сумму ему придется продать отечество. Тут и пустоголовая, но хорошо выкормленная бонапартистка, которая, опираясь на руку экспекторирующего человека, мечтает о том, как она завтра появится на променаде в таком платье, что всё-всё (mais tout!)[21 - действительно, всё!] будет видно. Тут и милая старушка, которая уже теперь не может прийти в себя от умиления при виде той массы панталон, которая все больше и больше увеличивается, по мере приближения к центру городка. Тут и замученный хождениями по мытарствам литератор, и ошалевший от апелляций и кассаций адвокат, и оглохший от директорского звонка чиновник, которые надеются хоть на два, на три месяца стряхнуть с себя массу замученности и одурения, в течение 9 – 10 месяцев составлявшую их обычный modus vivendi[22 - образ жизни] (неблагодарные! они забывают, что именно эта масса и напоминала им, от времени до времени, что в Езопе скрывается человек!). Тут и шпион. И все они переходят от гостиницы к гостинице, от одного въезжего дома к другому, отыскивая конуру… самую простую конуру! И редко кому из них удается успокоиться в искомой конуре раньше трех-четырех часов изнурительнейших поисков.

Ночью гостиницы и въезжие дома наполняются звуками экспекторации "гостей" и громкими протестами бонапартисток: eh bien, auras-tu bientot fini?[23 - ну, скоро ли ты кончишь?] – на что следует неизбежный ответ: ах; матушка! к-ха, к-ха… хрррр… Но вот легкие мало-помалу очищаются, и к полуночи все стихает. Утром, в шесть часов, опять экспекторация и опять протест… А между тем в кургаузе и около него гудит пчелиный рой. Семь часов утра. Одни уже отпили свою порцию, другие только что заручились кружками и спешат к источникам. Всякий народ тут: чиновные и нечиновные, больные и здоровые, канальи и честные люди, бонапартисты и простые, застенчивые люди, которые никак не могут прийти в себя от изумления, какое горькое волшебство привело их в соприкосновение со всем этим людом, которого они не искали и незнание

которого составляло одну из счастливейших привилегий их существования. Тут и англичанка-пэреса, которая в Англии оплодотворилась, а здесь заставляет возить себя в ручной колясочке, дабы не потревожить плода. Тут и упраздненный принц крови, который, изнемогая в конвульсиях высокопоставленного одиночества, разыскивает через кельнеров, не пожелает ли кто-нибудь иметь честь быть ему представленным. Тут и рязанский землевладелец, у которого на лице написано: наплюю я на эти воды, закачусь на целую ночь в Линденбах, дам Доре двадцать пять марок в зубы: скидывай, бестья, лишнюю одёжу… служи! Тут и шпион. В воздухе стоит разноязычный говор, в общей массе которого не последнее место занимает и русская речь.

– Какими судьбами? вы!!

– Да вот в горле все что-то сверлит.

– С кем это вы сейчас говорили?

– Мошенник! знаете ли, какую он штуку удрал…

Через минуту другая встреча.

– И вы здесь? давно?

– Дней с пять. С легкими справиться не могу.

– С кем вы сейчас говорили?

– Ужаснейшая, батюшка, каналья. Знаете ли, какую он вещь с родной сестрой сделал…

Еще через минуту.

– Доктор! я уж третий стакан выпил.

– Ходите, обменивайте вещества!

– Доктор! вчера я получил письмо из России. У нас ведь вы знаете что?.. Са-ран-ча!!

– Я бы особенным повелением запретил писать из России письма больным. Ходите, обменивайте вещества!

– Доктор! а это… можно.

Следует обмен мыслей шепотом.

– Гм… если уж вы… Но вы знаете мое мнение: это положительно не kurgemaess…

– Доктор! чуточку!

– Да, но я все-таки должен предупредить… Удивительный вы народ, господа русские! все вы прежде всего об этом спрашиваете… Ну, что с вами делать, можно, можно… А теперь ходите и обменивайте вещества!

И бегут осчастливленные докторским разрешением "знатные иностранцы" обменивать вещества. Сначала обменивают около курзала, надеясь обмануть время и принюхиваясь к запаху жженого цикория, который так и валит из всех кухонь. Но потом, видя, что время все-таки продолжает идти черепашьим шагом (требуется, по малой мере, час на обмен веществ), уходит в подгородние ресторанчики, за полчаса или за сорок минут ходьбы от кургауза.

Подождите еще несколько минут, и вы увидите новый наплыв публики: запоздавших. Вот и вчерашняя бонапартистка, с кружкой в руках, проталкивается сквозь толпу в каком-то вязаном трико, которое так плотно ее облипает, что, действительно, бонапартисты могут пожирать глазами… все. Рядом с нею бредет милая старушка, усиливаясь подпрыгивать, вся разрисованная, восхищенная, готовая в огонь и в воду… toute pimpante![24 - во всем блеске!] И вдали, в дверях кургауза, следит за старушкой обер-кельнер, завитой белокурый детина, с перстнем, украшенным крупной бирюзою, на указательном пальце, и на вопрос, что может стоить такой камень, самодовольно отвечает: das hat mir eine hochwohlgeborene russische Dame geschenkt.[25 - это подарила мне одна высокородная русская дама]

Я знаю многих русских дам, которые, наверное, обидятся наглостью обер-кельнера и воскликнут: как он смеет клеветать? С своей стороны, отнюдь не оправдывая нескромности табльдотного Рюи-Блаза

и даже не имея ничего против того, чтоб назвать ее клеветою, я позволяю себе, однако ж, один вопрос: почему ни один кельнер не назовет ни eine englische, ни eine deutche, ни eine franzosische Dame,[26 - ни английскую, ни немецкую, ни французскую даму] а непременно из всех национальностей выберет русскую? Уж на что, кажется, повадлива румынская национальность, но и об ней обер-кельнеры умалчивают. Стало быть, есть в русской даме какое-то внутреннее благоволение (вероятно, вполне невинное), которое влечет к ней сердца хаускнехтов и заставляет кельнеров мечтать: уж если суждено мне от кого-нибудь получить перстенек с бирюзой, так не иначе, как от русской «дамы».

Очень может быть, что дело происходило так. Приехала на воды экспекторирующая старушка-вдова, и ни в ком, на чужбине, не нашла участия, кроме обер-кельнера своей гостиницы. Этот человек сразу оказался "золотым" малым. Он допускал, в пользу ее, отступления от правил табльдота; он предоставлял ей лучшее место за столом, придвигал и отодвигал ее стул, собственноручно накладывал ей на тарелку лакомый кусок, наливал в стакан вино и после обеда, надевая ей на плечи мантилью, говорил: so!.[27 - так!] А вечером лично носил ей в номер поднос с чаем, справлялся, спокойно ли ей почивать и не нужно ли промыслить другую подушку. Словом сказать, самоотвергался. Разумеется, старушка была тронута. Вспомнила, что у нее в саквояже лежит перстенек с бирюзой, который когда-то носил на указательном пальце ее покойный муж, вынула, немножко всплакнула (надо же память покойного «друга» почтить!) и… отдала. Отдавши, уехала на другие воды, где опять встретила точь-в-точь такого же обер-кельнера, вспомнила, что у нее в саквояже лежит перстенек с изумрудом (тоже покойный муж на указательном пальце носил), опять всплакнула и опять… отдала. И, таким образом, объехавши многие курорты, добралась до Швейцарии, но тут запас перстеньков истощился и, в соответствии с этим, истощилось и обер-кельнерское самоотвержение. И вот теперь она живет в деревне Проплёванной и дарит старосте Максимушке, за самоотвержение, желтенькую бумажку…

Et voila comme on ecrit l'histoire.[28 - И вот так пишется история]

Около половины десятого кургауз пустеет; гудение удаляется и расходится по отелям. Это время первого насыщения, за которым наступает время побочных лечений. Позавтракавши, одни идут в Gurgl-cabinet,[29 - кабинет по горловым болезням] другие в Inhalations Anstalt,[30 - отделение для ингаляции] третьи – берут ванны. Но те, которые удивляют мир силою экспекторации, – те обыкновенно проделывают все отрасли лечения и продолжают экспекторировать с прежнею силою. Зато им решительно не только нет времени об чем-либо думать, но некогда и отдохнуть, так как все эти лечения нужно проделать в разных местах города, которые хотя и не весьма удалены друг от друга, но все-таки достаточно, чтоб больной человек почувствовал. И во всяком месте нужно обождать, во всяком нужно выслушать признание соотечественника: «с вас за сеанс берут полторы марки, а с меня только марку; а вот эта старуха-немка платит всего восемьдесят пфеннигов». И вся эта история повторяется изо дня в день, несмотря ни на какую погоду. Подумайте! с шести часов дня до часу пополудни ничего, кроме беготни и каких-то бесконечных тринкгельдов, которые, подобно древней дыбе, приводят истязуемого субъекта в «изумление». Как должно это действовать на человека, страдающего, кроме болезни сердца, эмфиземы, воспаления дыхательных путей, астмы – еще мозолями!

Это же время (от десяти до часу) – самое горячее и для бопапартистки, ибо она примеривает костюм, в котором должна явиться к обеду. Процесс этого примеривания она отбывает с самою невозмутимою серьезностью. Наденет одно платье, встанет перед зеркалом, оглядит себя сперва спереди, потом сзади, что-то подправит, в одном место взбодрит, в другом пригнетет, слизнет языком соринку, приставшую к губе, пошевелит бровями, возьмет маленькое зеркальце и несколько раз кивнет перед ним головой то вправо, то влево, положит зеркальце, опять его возьмет и опять слизнет с губ соринку… И все время мечется у ней перед глазами молодой бонапартист, который молит: ах, эта ножка! ужели вы будете так бессердечны, что не дадите ее поцеловать! Но мольба эта не волнует ее, не вливает ей в кровь отраву… Как истинная кокотка по духу, она даже этим не волнуется, а думает только: как нынче молодые люди умеют мило говорить!.. и начинает примеривать другое платье. Новое стояние перед зеркалом, удаление и приближение к нему; есть что-то неладное назади, именно там, где все должно быть ладно. Что такое? quel est ce mystere?[31 - в чем секрет?] Ну вот, теперь хорошо… tout ce qu'il faut![32 - все как следует!] И опять бонапартист перед глазами, который успел уже поцеловать ножку и теперь вопрошает грядущее… Третье платье и новое повертыванье перед зеркалом. Это платье, по-видимому, уж совсем хорошо, но вот тут… нужно, чтоб было две ноги, а где они, «две ноги»? "За что же, однако, меня в институте

учитель прозвал tete de linotte![33 - ветреницей] совсем уж я не такая…" И опять бонапартист перед глазами, но уж не тот, не прежний. Тот был с усиками, а этот с бородой… ах, какой он большой! Опять платье, четвертое и последнее. Пора. Последнее платье надевается наскоро, потому что часы показывают без десяти минут час, и, сверх того, в изгибах tete de linotte мелькает стих Богдановича: «во всех ты, душенька, нарядах хороша…»

Это единственное «знание», которое она вынесла из шестилетней мучительной институтской практики.

В это же время бодрствует в своей конуре и шпион. Он приводит в порядок собранные матерьялы, проводит их сквозь горнило своего понимания и, чувствуя, что от этого "понимания" воняет, сдабривает его клеветою. И – о, чудо! – клевета оказывается правдоподобнее и даже грамотнее, потому что образцом для нее послужила полемика "благонамеренных" русских, газет…

Бьет час, и весь этот людской сброд, измученный отчасти беготней, отчасти легкомыслием, отчасти праздностью, сосредоточивается за табльдотами. На некоторое время город кажется пустым.

Послеобеденное время – самое тяжкое. До обеда все как-нибудь отличились, отштукатурились и обрядились; после обеда – даже этих ресурсов нет. Возвращаться "домой" незачем, да и некуда: никакого "дома" нет, а есть конура. Даже у самого богатого человека, и у того, сравнительно с "домом", конура. Надо где-нибудь прошляться, чтоб погубить остальные шесть-семь часов. Где прошляться? Я сказал выше, что окрестности курорта почти всегда живописны, но число экскурсий вовсе не так велико, чтоб не быть исчерпанным в самое короткое время. Пять-шесть прогулок – вот и весь репертуар. Правда, что в "своем месте" вы каждый день гуляете по одному и тому же саду, любуетесь одними и теми же полями, и вам это не надоедает. Но, во-первых, "свое место" избавляет вас от культурно-кокотских отрав, которые одолевают вас здесь на каждом шагу; а во-вторых, в том-то и чарующая сила "своего места", что там вас интересует судьба каждого дерева, каждого куста, каждой былинки. И каждая былинка, в свою очередь, как бы хранит память об вас. На что вы ни взглянете, к чему ни прикоснетесь, – на всем легла целая повесть злоключений и отрад (ведь и у обделенных могут быть отрады!), и вы не оторветесь от этой повести, не дочитав ее до конца, потому что каждое ее слово, каждый штрих или терзает ваше сердце, или растворяет его блаженством… Тогда как за границу вы уже, по

преданию, являетесь с требованием чего-то грандиозного и совсем-совсем нового (мне, за мои деньги, подавай!) и, вместо того, встречаете путь, усеянный кокотками, которые различаются друг от друга только тем, что одни из них въезжают на горы в колясках, а другие, завидуя и впривскочку, взбираются пешком.

Часов до четырех дело, однако ж, кой-как идет. На променаде играет порядочная музыка; в ресторане курзала и на столиках около него толпится публика и "потребляет". Кокотка по ремеслу отсутствует (управление вод очень строго изгоняет все, что не kurgemaess, хотя во времена владычества рулетки и отступало от этого правила), но кокотка по духу – царит. Но вот музыканты, один за другим, разбрелись, послеобеденный кофе выпит, мороженое съедено; дальнейшее пребывание под навесом платанов становится нестерпимым. Необходимо гулять. В сущности, еще очень рано; день едва достиг того часа, когда дома приканчиваются дела, и многим по привычке кажется, что сейчас скажут, что суп на столе. Напрасное обольщение! – надобно гулять! – вы до усталости ходили утром, но то было утром, а теперь вечер. Обменивайте вещества! Перед вами Altes-Schloss, потом Eberstein-Schloss, потом Rothenfels.[34 - Прогулки в окрестностях Баден-Бадена. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)] Выбирайте любое! А завтра будет Rothenfels, Eberstein-Schloss, Altes-Scholoss… А то не хотите ли в Фавориту

, десять раз в Фавориту, двадцать раз в Фавориту!

Бонапартисты и бонапартистки плавают в этой суматохе, как рыба в воде. Они всходят и взъезжают на горы, жеманятся, провокируют, мелькают и вообще восполняют свое провиденцияльное назначение, то есть выставляют напоказ: первые – покрои своих жакеток и сьютов, вторые – данные им природой атуры. Нельзя себе представить ничего более жалкого, как человеческое существо, с головы до ног погруженное в показывание атуров. А современная культурная женщина почти сплошь занята одним этим. И не только молодая tete de linotte, но и старушка. Ничто ее не интересует, ни книга (за исключением порнографической литературы), ни картина (за исключением порнографических фотографий), ни пейзаж (за исключением порнографических cabinets particuliers).[35 - отдельных кабинетов] Ничто, кроме заботы о том, чтоб наряд как можно меньше скрывал ее округлости. Она даже насыщается не ради того, чтоб поддерживать жизнь или удовлетворять своей gourmandise,[36 - обжорству] а потому, что, как ей сказывали, при помощи хорошего и обильного питания нагуливаются хорошие и обильные атуры. Иметь высокую грудь и

выдающуюся поясницу – вот конечная цель ее самолюбия. И, как дополнение к этому, обладать немногосложным, но в высшей степени точным порнографическим жаргоном. Не все ли равно этим двуногим, где выполнять свое провиденцияльное назначение, на вершине ли Schone Aussicht или в Линденбахе? Какое ей дело до того, что с вершины Schone Aussicht видны Siebengebirge и стальная полоса Рейна, что там благоухает сосна, а Линденбах провонял кухонным чадом. Линденбах, пожалуй, привлекательнее, потому что там есть просторный ресторан, в котором можно прислониться.

Этот бонапартистско-кокотский элемент вместе с особью людей, которые не могут представить оправдательных документов для объяснения средств своего существования, составляют истинную отраву всякого курорта. Рулетка исчезла, но рулеточные обычаи, рулеточный запах еще остались. Всякий курорт есть место неожиданных встреч. Некогда вы знали человека, ходившего чуть не без штанов, потом потеряли его из вида, и вдруг встречаете его здесь и некоторое время думаете, что перед вами мелькнуло сонное видение. У этого человека все курортное лакейство находится в рабстве; он живет не в конуре, а занимает апартамент; спит не на дерюге, а на тончайшем белье; обедает не за табльдотом, а особо жрет что-то мудреное; и в довершение всего жена его гуляет на музыке под руку с сановником. Ясно, что он что-то украл, но здесь, в курорте, в первый раз вам приходит на мысль вопрос: что такое вор? У себя, на берегах Ворсклы или Вороны, или совсем не пришел бы на мысль этот вопрос, или вы совершенно точно ответили бы на него, но среди этой кажущейся жизни, исполненной кажущихся поступков, кажущихся разговоров и даже кажущегося леченья – все самые ясные вопросы принимают какой-то кажущийся характер. Да уж не слишком ли прямолинейно смотрел я на вещи там, на берегах Хопра? думается вам, и самое большое, что вы делаете, – и то для того, чтоб не совсем погрязнуть в тине уступок, – это откладываете слишком щекотливые определения до возвращения в "свое место". Там можно будет и опять в Юханцеве видеть Юханцева, а здесь, на водах…

– С кем вы сейчас говорили?

– Помилуйте, скотина!

Сегодня "скотина", завтра "скотина", а послезавтра и сам черт не разберет: полно, "скотина" ли?

Между тем бьет семь часов, и волна людская опять растет около курзала. Оркестр гремит; бонапартистки, переменивши туалет, скользят между столами; около одной, очень красивой и роскошно одетой, собралось целое стадо habitues[37 - завсегдатаев] и далеко, под сводом платанов, несется беззаветный хохот этой привилегированной группы, которая, по всей линии променад, прижилась как у себя дома. Все прочие бонапартистки отчасти завидуют ей, отчасти млеют перед ней в благоговении. Это белокурая испанка от колена Монтихова, которую сама «вдова» благословила

летом разъезжать по курзалам, а зимой блистать в Париже и наблюдать за мосье Гамбетта. Она дает тон курорту; на ней одной можно воочию убедиться, до какого совершенства может быть доведена выкормка женщины, поставившей себе целью останавливать на своих атурах вожделеющие взоры мужчин, и в какой мере платье должно служить, так сказать, осуществлением этой выкормки. Да, платье именно должно быть таково. Оно не обязывается ни подчеркивать, ни комментировать, ни увлекаться в область парадоксов, а именно только осуществлять.

Статуя должна быть проста и ясна, как сама правда, и, как правда же, должна предстоять перед всеми в безразличии своей наготы, никому не обещая воздаяния и всем говоря: вот я какая! Что же касается до того, какие представления "в случае чего" надлежит иметь относительно этой статуи-правды, то роль путеводителей в этом разе предоставляется перехватам, бантам, цветам и другим архитектурным украшениям. Где бант – там остановка, где перехват – там гляди. Единственное темное пятно в современном женском туалете – это юбка, которую, несмотря на все усилия, никак не могут упразднить "законодатели мод". Она одна оставляет в статус некоторые неясности, одна служит оградительницей интересов современной семьи. Впрочем, эти неясности отчасти уже устраняются при помощи ноги. Нога (а не ножка, как выражались любезники сороковых годов) должна быть видна во всей своей скульптурной образности; нога и часть икры… Вот вам на первый раз, а остальное, конечно, тоже придет, но нужно же иметь сколько-нибудь терпения!

Толпа гудит, сама не сознавая, к чему она стремится, чего желает. Ничего, кроме праздных мыслей, праздных слов и праздных поступков. Это самое полное, самое беззаветное осуществление идеала равенства… перед праздностью. Если кто "дома" сознавал за собою что-нибудь оригинальное, тот забывает об этом, стушевывается перед общим уровнем ликующей толпы. И это происходит не по принуждению, а незаметно, само собой. Вдруг как-то исчезает

всякая гадливость.

Это обезличение людей в смысле нравственном и умственном и, напротив, слишком яркое выделение их с точки зрения покроя жилетов и количества съедаемых "шатобрианов", это отсутствие всяких поводов для заявления о своей самостоятельности – вот в чем, по моему мнению, заключается самая неприглядная сторона заграничных шатаний. Ежели обязательно суетливая праздность производит скуку, то продолжительное отсутствие проявлений самостоятельности может иметь последствием полнейшую умственную и нравственную анемию. И я убежден, что многие, воротясь домой, не без удивления вспоминают о месяцах, проведенных в чуждой среде, под игом понятий и привычек, о существовании которых они только тут в первый раз узнали.

По крайней мере, я испытал нечто подобное на себе. Представьте себе, вновь встретился с Удавом и Дыбой – и обрадовался. И они мне обрадовались и в один голос воскликнули: Вот как! ну, и слава богу!

Они ходили всегда вместе, во-первых, потому, что были равны в чинах и могли понимать друг друга, и, во-вторых, потому, что оба чувствовали себя изолированными среди курортной толкотни. Хотя и кроме их в курорте была целая масса бесшабашных советников, но Дыба и Удав добыли свои чины еще по старому положению и притом имели довольно странные гербы. Поэтому прочие бесшабашные советники, добывшие свои чины повадливостью и тщательно расчесанными на затылках проборами, перекидывались с ними двумя-тремя учтивостями и устремлялись дальше, как бы задыхаясь в атмосфере старческих грехов, которую распространяли кругом себя вышедшие из употребления сановники. Не было явного пренебрежения, но не было и предупредительности. Однако ж старики в первое время все-таки тянулись за так называемой избранной публикой, то есть обедали не в час и не за табльдотом, а в шесть и a la carte,[38 - по карточке, порционно] одевались в коротенькие клетчатые визитки, которые совершенно открывали их убогие оконечности, подсаживались к молодым бонапартистам и жаловались, что доктор не позволяет пить шампанское, выслушивали гривуазные анекдоты и сами пытались рассказать что-то неуклюжее, засматривались на бонапартисток и при этом слюнявили переда своих рубашек и проч. Но все эти усилия ни к чему не привели. Избранная публика даже одним ухом не слушала их, но совершенно явно показывала, что совсем ничего не слышит, так что, в конце концов, всегда оказывалось, что, думая обращаться к публике, старики исключительно

разговаривали друг с другом. Не раз случалось и так, что «знатные иностранцы», пораженные настойчивостью, с которою старики усиливались прорваться в ряды «милых негодяев», взглядывали на них с недоумением, как бы вопрошая: откуда эти выходцы? – на что прочие бесшабашные советники, разумеется, поспешали объяснить, что это загнившие продукты дореформенной русской культуры, не имеющие никакого понятия об «увенчании здания»

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

сообразными с лечением

2

Замечательно, что тут же, за решеткой, у самого изголовья старого чимпандзе, заключен маленький чимпандзе, родившийся несколько месяцев тому назад, уже в Берлине. Этот ребенок стоит, ухватившись передними лапами за решетку, и положительно глаз не сводит с умирающего старика. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

3

Гора, командующая над Бад-Эмсом. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

4

Почему? каким образом?

5

с чьей помощью?

6

образ жизни

7

Сказал – и облегчил душу

8

исповедания веры

9

Прошу читателя помнить, что все это происходит в сновидении, и не удивляться, что немецкий мальчик выражается не вполне свойственным его возрасту языком. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

10

Со стороны русского мальчика этот способ выражаться еще неестественнее, но, опять повторяю, в сновидении нет ничего невозможного. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

11

Доблести и верности швейцарцев

12

Содержатели известных в Париже ресторанов. Впрочем, заранее извиняюсь: быть может, есть имена и более известные. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

13

покровителям

14

для себя

15

кутить

16

дамам

17

по примеру Парижа

18

с вполне благообразным лакеем

19

у нас свои собственные парижские сорванцы!

20

чаевые

21

действительно, всё!

22

образ жизни

23

ну, скоро ли ты кончишь?

24

во всем блеске!

25

это подарила мне одна высокородная русская дама

26

ни английскую, ни немецкую, ни французскую даму

27

так!

28

И вот так пишется история

29

кабинет по горловым болезням

30

отделение для ингаляции

31

в чем секрет?

32

все как следует!

33

ветреницей

34

Прогулки в окрестностях Баден-Бадена. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

35

отдельных кабинетов

36

обжорству

37

завсегдатаев

38

по карточке, порционно

Купить: https://tellnovel.com/saltykov-schedrin_mihail/za-rubezhom

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити